ISSN 0130-6545

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



[10] 2006

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ГИД: "БАЛКАНЫ. ПЕЙЗАЖ РАЗВАЛИН" / РОМАН ДЖОНА БЭНВИЛЛА "МОРЕ" — БУКЕРОВСКАЯ ПРЕМИЯ 2005 ГОДА / ПОВЕСТЬ ЗБИГНЕВА МЕНТЦЕЛЯ "ВСЕ ЯЗЫКИ МИРА" / ИСПАНСКИЕ ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ В ПЕРЕВОДЕ ПАВЛА ГРУШКО / ДЖОН ЭШБЕРИ В РУБРИКЕ "ДРУГАЯ ПОЭЗИЯ. АНТОЛОГИЯ" / "НА ПОЛЯХ ХОЛОКОСТА" — СТАТЬЯ ЛЬВА АННИНСКОГО / ГРЭМ СВИФТ, ТИБОР ФИШЕР И ЧЖАН ЖУН В РУБРИКЕ "НАШИ ИНТЕРВЬЮ"

Основан в 1891 году

Море

Джон Бэнвилл

Аннотация
ДЖОН БЭНВИЛЛ. МОРЕ
I
II

Аннотация

Роман Джона Бэнвилла, одного из лучших британских писателей, который выиграл Букеровскую премию в 2005 году.

ДЖОН БЭНВИЛЛ
МОРЕ

I

И хуже нет, тех богов, канули, сгинули в день странного прилива. Все утро под бледным небом вода в бухте взбухала, взбухала, забиралась на невозможную высоту и мелкие, плоские волны всползали на каленый песок, годами иначе как от дождя не знавший влаги, и снизу лизали дюны. Ржавый остов сухогруза, давным-давно, не на нашей памяти, выброшенный на мель в дальнем краю залива, мог возомнить, что снова спустили его на воду. Больше не буду плавать, никогда, после того дня. Морские птицы голосили, взвивались, ухали вниз, будто ополоумели из-за того, что огромная чаша воды под ними вздулась, как волдырь, и жутко отливала свинцом. Такие невыносимо белые они были, те птицы. Волны оставляли на берегу грязную, желтую пену. Ни единого паруса на высоком пустом горизонте. Больше не буду плавать, нет, никогда, никогда.

Опять у меня мурашки по коже. Опять.

Дом называется «Кедры», как раньше. Группка бурых деревьев, нахохлясь, разя смолой, спутав, как в кошмаре, стволы, по-прежнему стоит слева

и через неопрятный лужок смотрится в большое сводчатое окно, когда-то окно гостиной, которую теперь мисс Вавасур, хозяйка, предпочитает именовать салоном. Парадное — с другой стороны и открывается на грязный квадрат гравия под защитой высокой железной калитки, все еще крашенной зеленой краской, хоть ржавчина к зыбкой филиграни свела блоки. Поражаюсь, как мало что тут изменилось за те пятьдесят с лишним лет, пока меня не было. Поражаюсь, досадую, чуть ли не ужасаюсь даже, почему, сам не знаю, — с чего бы ждать перемен, раз явился жить на обломках прошлого? Странно, и зачем это дом встал так, вполоборота, слепой штукатурной стеной к дороге; может, в прежние времена, до прокладки рельсов, дорога целилась в совершенно другую сторону, бежала под самым парадным, тоже не исключено. Мисс В. по части дат не сильна, но предполагает, что дом заложили в начале прошлого века, то есть позапрошлого, да? — я плутаю по тысячелетию, наобум набавляю годы. Но таким образом легко можно объяснить здешний беспорядок и путаницу, маленькие комнаты вперемежку с большими, окна, глядящиеся в слепые стены, сплошь низкие потолки. Полы из красной сосны отдают морской ноткой, как и мой

долгоспинный вертящийся стул. Что ж, вообразим старого морехода, наконец-то осевшего на берегу, — он дремлет у камелька, а зимняя буря гремит оконницами. Ох, быть бы на его месте. Побывать в его шкуре.

Когда я тут был, давным-давно, во времена тех богов, «Кедры» были такой летний дом и сдавались — на две недели, на месяц. Весь июнь ежегодно его заполоняло шумное семейство богатого доктора — мы не любили горластых докторских деток, они над нами смеялись, швырялись камнями из-за нерушимого барьера калитки, — а после них заявлялась таинственная пожилая чета, эти ни с кем не общались и в урочный час, каждое утро, в скорбном молчании выгуливали своего жирного пса по Станционной до берега. Август был в «Кедрах» самое интересное время, для нас по крайней мере. Жильцы каждый год разные, то англичане, то с континента, занесло как-то парочку молодоженов, мы пробовали за ними подглядывать, и один раз закатилась сюда даже труппа бродячих артистов, давала по вечерам представления в продувной деревенской киношке. А потом, в тот год, в доме поселились Грейсы.

Прежде всего я увидел автомобиль, припаркованный на гравии, внутри за калиткой. Побитый

и поцарапанный, низкая посадка, бежевые кожаные сиденья и крупные спицы полированного руля. Книжки в мятых, линялых обложках валялись под лихо откинутым задним стеклом, и скучал среди них путеводитель по Франции, сильно потрепанный. Парадное стояло настежь, снизу неслись голоса, наверху кто-то топотал по доскам босыми ногами, и хохотала девочка. Я застыл у калитки, откровенно подслушивая, и вдруг из дому выходит взрослый, с бокалом в руке. Невысокий, полноватый, крупные плечи, большая круглая голова, волнистые, стриженые, глянцевито-черные волосы с ранней проседью, черная бородка клинышком с точно такой же проседью. Зеленая рубашка расстегнута, шорты цвета хаки, и он босиком. Загар такой крепкий, что отдает фиолетовым. Даже ноги, я заменил, темные на подъеме; тогда как, по моим наблюдениям, все отцы ниже линии воротничка обычно были рыбно-белесы. Ставит бокал — льдисто-голубой джин с кубиками льда и ломтем лимона — под рискованным углом на крышу автомобиля, открывает дверцу, шарит на приборном щитке. В доме, наверху, снова хохочет невидимая девочка, визжит в притворном испуге, снова топочут босые ноги. Там бегают наперегонки, она и еще

кто-то, но тот молчит. Взрослый распрямляется, берет свой джин, хлопает дверцей. Того, что искал в машине, он не нашел. Он уже хочет вернуться в дом, но тут глаза его натыкаются на мой взгляд, и он мне подмигивает. Не так, как всегда подмигивают взрослые — игриво, заискивающе. Нет, тут дружеский, заговорщический, прямо масонский знак — в том смысле, что минута, которая свела нас, мальчишку со взрослым, по видимости пустая, неважная, обладает, оказывается, тайным смыслом. У него поразительно светлые, прозрачно-голубые глаза. Но уже он возвращается в дом, с порога бросает: «Проклятая штуковина, кажется…» — и скрывается. Я еще постоял, засматривая в верхние окна. Никто не выглянул.

Такова была моя первая встреча с Грейсами: сверху девочкин голос, топот босых ног, а внизу мне подмигивают голубые глаза, весело, дружески, чуть жутковато.

Вот, опять себя ловлю: опять этот тоненький, нудный свист сквозь передние зубы — новая новость. Фью-фью-фью — как бормашина дантиста. Так отец свистел — ну и я туда же? В комнате через коридор полковник Бланден крутит радио. Обожает вечерние дискуссии: гневные звонки сограждан, возмущенных сволочами политиками,

ценами на спиртное, тому подобными вечными раздражителями. «Общение», — кратко объясняет полковник, откашливается, по-видимому, конфузится, прячет от меня выпученные, выцветшие глаза, хоть я от него не требую никаких объяснений. Или он слушает свое радио, валяясь в постели? Придется себе представить, как он лежит, в серых теплых носках, шевелит пальцами, галстук на сторону, воротник распахнут, руки запрокинуты и сзади сжаты на старой жилистой шее. Вне своей комнаты он сама вертикальность, весь подтянут — вверх, от подошв чиненых-перечиненых лоснистых ботинок к конической маковке черепа. Каждую субботу стрижется у деревенского парикмахера, все подчищается сзади и по бокам, наверху оставляется ястребиный седой хохолок. Торчат старые уши с длинными мочками, их как будто долго-долго сушили, коптили; белки глаз тоже отдают дымной желтизной. Слышу жужжание голосов, но смысла не разобрать. Нет, тут с ума сойдешь. Фью-фью-фью.

Или в тот же день, когда приехали Грейсы, только попозже, или на следующий, опять я увидел черный автомобиль, я сразу его опознал, когда он подпрыгивал, одолевая горбатый мосток над рельсами. Он и теперь тут как тут, мосток, сразу

за станцией. Да, жизнь уходит, остаются предметы. Автомобиль выезжал из деревни в сторону города. Назовем его Баллимор, от нас в двенадцати милях. Город Баллимор, деревня Баллилесс, может, смешновато, ну и пусть. Тот, с бородкой, который мне подмигнул, сидит за рулем, что-то говорит, хохочет, запрокидывает голову. Рядом женщина, локтем на опущенном стекле, тоже запрокидывает голову, светлые волосы треплет ветер, но она не хохочет, она улыбается только, той своей улыбкой, которую для него одного держала, скептической, снисходительной, томной. Белая блузка, темные очки в белой пластиковой оправе, сигарета в руке. Но сам-то я где, с какой точки подглядываю? Себя я не вижу. Секунда, и их уже нет, автомобиль, дрогнув задом, в струе выхлопного газа вильнул за поворот. Высокие травы в канаве, светлые, как волосы женщины, кратко дрогнув, снова задумчиво застывают.

Я шел по Станционной в солнечной пустоте вечернего часа. Берег у подножья холма рыже мерцал под полосою индиго. Всё на море — узкие горизонтали, мир сведен к нескольким долгим прямым, зажатым между землею и небом. Я приближался к «Кедрам» с опаской. И почему это в детстве все новое, привлекавшее мой интерес,

отдавало жутью, тогда как, согласно авторитетам, жутко не то, что ново, а то, что знакомо, но возвращается в новой форме, в качестве призрака? Да, много есть неразрешимых вопросов и понасущнее этого. Подходя, я слышал ржавый упорный скрип. Мальчишка, мне ровесник, повис на зеленой калитке и, вяло уронив руки, отталкиваясь ногой, медленно раскачивался над гравием. Те же светлые волосы, что у женщины в автомобиле, безошибочно те же, что у мужчины, голубые глаза. Я просто шел себе мимо, ну, положим, даже задержался, запнулся, а он ткнул гравий носком кеды, пресек вращенье калитки, и смерил меня взглядом — враждебным и вопросительным. Так все мы, дети, друг на друга смотрели при первой встрече. За его спиной мне открылся весь узенький сад, тыл дома, диагональная просадь вязов у полотна — уже их нет, тех вязов, повырублены, заменены строем пастельных дачек, кукольных домиков, — и даль, где были тогда поля, и коровы, и рыжие вспышки утесника, и одиноко тянулся шпиль, и небо катило белые облака. Вдруг, поразительно, мальчишка скорчил жуткую рожу: скосил глаза, высунул язык чуть не до подбородка. Я двинулся дальше, всей спиной чувствуя его насмешливый взгляд.

Кеды. Про них теперь как-то почти нет речи. А так славно рифмовались с «Кедрами». Теперь все больше — кроссовки. Опять полковник отправился в сортир. Нелады с простатой, могу поспорить. Проходя мимо моей двери, он умеряет шаг, скрипит на цыпочках, из уважения к моей утрате. Блюдет условности, доблестный наш полковник.

Я иду по Станционной.

Как часто мы замирали в детстве, или это теперь только кажется; бдительно; выжидательно. Ждали, в нашем еще не готовом мире, вглядывались в будущее, как мы с тем мальчишкой вглядывались друг в друга; ждали; как солдаты на поле боя ждут судьбы. У подножья горы я замер и поглядел на три стороны, вдоль Береговой, вдоль Станционной и еще туда, где была жестяная киношка и бесплатные теннисные корты. Ни души. Дорога за кортами называлась Скальной, хотя какие б там ни были скалы когда-то, их давным-давно слизало море. Там, говорили, на песчаном морском дне стоит церковь, целехонькая, с колоколом на звоннице, прежде она высилась на мысу, но он тоже исчез, обрушенный жуткой волной в роковую ночь потопа и бури. Такими байками кормили нас местные, Дуиньян, молочник, глухой Колфер, промышлявший про-

дажей подобранных после гольфа мячей, — чтоб мы, значит, приезжие, понимали, что их ручная деревенька на взморье тоже знавала кошмарные времена. Реклама сигарет над Береговым Кафе — «Морские» с картинкой: бородатый матрос в спасательном круге, или это петля каната? — от бриза дрожала на просоленно-ржавых петлях, скрипучим эхом отвечая жужжанью калитки в «Кедрах», на которой, конечно, качался еще тот мальчишка. Они скрипят, сохранившаяся калитка, исчезнувшая реклама, до сих пор они скрипят в моих снах. Я отправился по Береговой. Дома, лавки, две гостиницы — «Гольф», «Береговая», — гранитная церковь, бакалея Майлера (плюс почта, плюс паб), а потом поле — Поля — деревянные дачки, и в одной всегда проводили лето мы, отец, мать и я.

Если те, в автомобиле, его родители, как же они оставили мальчишку одного? И где тогда была девочка, девочка, которая хохотала?

Прошлое бьется во мне, как второе сердце.

Фамилия консультанта была мистер Тодд. Не иначе как шутка в дурном вкусе со стороны полиглота-рока[1]. Кстати, могло быть и похлеще. Ми-

---

[1] Сноски: 1

Der Tod — смерть *(нем.). (Здесь и далее — прим. перев.)*

стер Гроб, например, не хотите? Этот Тодд к Анне обращался как к миссис Морган, но меня называл Макс. Вовсе не уверен, что мне сильно нравилась как эта почтительность, так и это амикошонство. На первый взгляд казалось, что его кабинет, нет, приемная, — тут говоришь «приемная», как и про него скажешь «мистер», не «доктор», — парит в вышине, хоть этаж был всего-навсего третий. Здание новое, сплошь стекло и бетон — даже шахту лифта забрали в стекло и бетон: прямо цилиндр шприца; когда лифт, жужжа, поднимался и ухал вниз, было очень похоже на то, как шприц вонзают и вынимают, — а две стены главной приемной доктора — сплошь стекло, от пола до потолка. Когда мы с Анной вошли, мне в глаза, пробивая это сплошное стекло, ударило раннее осеннее солнце. Регистраторша, неясное белое пятно, в халате и мягких скрипучих туфлях — в таких обстоятельствах кто станет особенно разглядывать регистраторшу? — сунула документы Анны мистеру Тодду на стол и, скрипя, удалилась. Мистер Тодд нас попросил сесть. Садиться в кресло мне до ужаса не хотелось, я подошел к стеклянной стене, стал смотреть. Прямо подо мной рос дуб или бук — вечно я путаю эти большие лиственные деревья, но не вяз, это точно, все вязы давно

позасохли, одним словом, благородное что-то, — и летнюю зелень кроны только чуть посеребрило осенней сединой. Сияли крыши машин. Молодая женщина в темном быстро уходила с парковки, и казалось, что даже на таком расстоянии слышу нежное цоканье по гудрону ее каблучков. Анна бледно отражалась в стекле, очень прямо сидя в металлическом кресле, в полупрофиль: образцовая пациентка, ноги сдвинуты, руки сложены на коленях. Мистер Тодд, избочась за столом, листал документы; бледно-розовый ящичек картотеки мне напомнил знобкие первые утра в школе после летних каникул, гладкость новехоньких учебников под рукой, почему-то грозный запах чернил и заточенных карандашей. Как, однако, разбегается мысль даже в минуты предельной сосредоточенности.

Я отвернулся от стекла, то, что снаружи, стало вдруг непереносимо.

Мистер Тодд был дюжий мужчина, не высокий, не грузный, а очень какой-то широкий: прямо квадратное что-то. Он придерживался успокоительно старомодного стиля. Твидовый костюм с жилетом и часовой цепочкой, рыжие башмаки, полковник Бланден бы одобрил. Волосы напомажены по старой моде, плотно зализаны назад,

усы — серой щеткой, — потрясающий вид. Не без некоторого смятения я понял, что, несмотря на весь маскарад почтенности, ему едва ли сильно за пятьдесят. С каких это пор доктора стали моложе меня? Он все писал, тянул время; я его понимаю, точно так же себя бы вел на его месте. Наконец положил перо, но разговора не начинал, вовсю давая понять, что даже уж и не знает, как приступиться. Что-то было заученное в этой запинке, театральное что-то. Опять-таки, понимаю. Доктор обязан быть столь же хорошим актером, как и врачом. Анна поерзала в кресле.

— Ну как, доктор? — она спросила чуточку чересчур громко, напуская звонкую бодрость фильмовой дивы сороковых. — Смертный приговор, или мне даруется жизнь?

Было тихо. Залп остроумия, явно отрепетированный, пробил мимо цели. Захотелось кинуться к ней, обнять и, как пожарник из огня, унести отсюда подальше. Я не шелохнулся. Мистер Тодд смотрел на нее испуганными, заячьими глазами, до середины лба вздернув брови.

— О, миссис Морган, мы вас пока не отпустим. — Большие серые зубы оскалились в ужасной улыбке. — Нет, мы пока подождем.

Снова удар тишины. Анна нахмуренно разгля-

дывала свои сложенные на коленях руки, будто раньше никогда их не видела. У меня предательски дернулось правое колено.

Мистер Тодд пустил в ход неопровержимые доводы, отшлифованные частым употреблением: перспективное лечение, новые лекарства; весь могучий арсенал химического оружия у него под рукой; мог с таким же успехом обещать чудо-зелье, экстракт алхимика. Анна все так же разглядывала свои руки; она не слушала. Наконец он умолк, сел, глядя на нее тем же затравленным заячьим взглядом, слышно дыша, растянув губы в подобье улыбки, демонстрируя те же зубы.

— Спасибо, — сказала она вежливо, и теперь голос шел как-то очень издалека. Сама себе кивнула. — Да — уж совсем издалека, — спасибо.

Тут мистера Тодда, видимо, отпустило, он быстро шлепнул себя ладонями по коленкам, вскочил и буквально затеснил нас к дверям. Когда Анна вышла, он меня пожаловал бодрящей, мужской улыбкой и сухим, быстрым, твердым рукопожатьем: уверен, дежурный набор для супругов в такие минуты.

Коридорный бобрик глушил шаги.

Лифт под нажимом кнопки вонзился в шахту.

Мы вышли в день — как ступили на новую

планету, где никто не жил, кроме нас.

*

Добравшись до дому, мы сидели в машине, долго, не в силах заговорить об известном, молчали, вдруг чужие сами себе и друг другу. Анна смотрела вдаль, на залив, где яхты, убрав паруса, колко сверкали на солнце. Живот у нее вздулся, твердый круглый ком изнутри давил на корсаж. Она тогда сказала: «Еще за беременную примут, в моем-то возрасте!» — и мы хихикнули оба, боясь друг на друга глянуть. Чайки, гнездившиеся у нас в трубах, давно улетели — в море, в далекий край, кто их знает. Сплошь все то жуткое лето день-деньской они кружили над крышей, освистывая наши потуги — делать вид, что все хорошо, что ничего не случилось, не рухнул мир. А она тут как тут была, в животе у нее сидела, зрела, время выгадывала, — Тодд, смерть.

Наконец мы вошли в дом — куда денешься. Яркий полуденный свет натекал в кухонное окно и все одевал таким острым, стеклянным блеском, как будто смотрю сквозь глазок фотоаппарата. Знакомые вещи — вазы на полках, сковороды на плите, хлебная доска и зазубренный нож — как будто, поджав губы, неловко отводили глаза от

нашего горя. Вот так, я понял с тоской, так и будет теперь, куда бы она ни шла, о ней будет возвещать этот колокольчик прокаженного. *Как вы дивно выглядите!* — будут возгласы. — *Как же, мы вас такой чудной еще никогда не видели!* И она, сверкая своей улыбкой, будет делать хорошую мину, бедная миссис Скелет.

Она стояла посреди кухни в плаще и шарфе, уперев руки в боки, и сердито озиралась. Она была еще хороша тогда: высокие скулы, просвечивающая, тонкая-тонкая кожа. Я всегда особенно любил ее аттический профиль, линию носа, как резного, слоновой кости, прямо со лба.

— Знаешь, что это такое? — выпалила она горько. — Ни с чем несообразно — вот это что такое.

Я поскорей отвел глаза, чтоб не выдали; своим глазам доверять нельзя, всегда из них смотрит другой, сумасшедший, отчаянный карла. Я понял. С ней не могло такого случиться. С нами не может такого случиться, не те мы люди. От беды, болезни, безвременной смерти не застрахованы добрые люди, скромные люди, соль земли. Но не Анна, не я. Посреди победного шествия, каким была наша с нею совместная жизнь, вылез, осклабясь, паршивец, отделился от ликующих толп и с комически низким поклоном подал моей

трагической королеве указ о свержении с трона.

Она поставила чайник, пошарила в кармане плаща, достала очки и надела, накинув тесьму на шею. И стала плакать, беззвучно, рассеянно. Я неуклюже сунулся обнимать, она отдернулась.

— Ради бога, не суетись! Просто я умираю, вот и все.

Чайник закипел, сам выключился, сердито шикнув, осела вода. В который раз я подивился равнодушной жестокости знакомых вещей. Да нет, при чем жестокость, просто они безразличные, что с них возьмешь? Впредь надо принимать их такими, как они есть, и хватит уже фантазировать. Я взял чай, заварочный чайник, гремя — тряслись руки, — но она сказала, что передумала, хочется бренди, бренди и сигарету, — а ведь она не курила и очень редко пила. Стояла в плаще у стола, смотрела на меня с хмурым вызовом, как непослушный ребенок. Уже не плакала. Смахнула очки, они подпрыгнули, успокоились на свисающей с шеи тесьме, потерла глаза. Я нашел бренди, плеснул ей, горлышко бутылки стучало о край стакана, как зубы стучат. Сигарет в доме не было, и где мне их взять — сигареты? Она сказала — не важно, не надо, не так уж и хотелось курить. Стальной чайник сверкал, кудрёй пара

из носика смутно напоминая джинна и лампу. Ох, исполни мое желание, только одно!

— Хотя бы плащ сняла, — сказал я.

Почему — хотя бы? Ну и штука язык человеческий.

Я подал ей стакан, она стояла, держала его в руке, не пила. Оконный свет из-за спины у меня блестел на линзах очков возле ключицы, рождал жутковатый эффект: у нее под подбородком, тут как тут — она же, крошечная, с опущенным взглядом. Вдруг она обмякла, тяжело села, протянула руки по столу странным, отчаянным жестом, будто моля о пощаде невидимого судью напротив. Стакан звякнул о столешницу, расплескал половину. Я тупо смотрел. На отчаянную секунду мелькнула мысль, что больше для нее не придумаю ни единого слова, так и будем — ужасно молчать, до конца. Нагнулся, поцеловал бледный кружок на макушке, размером с монету, откуда раскручивались темные волосы. Она вскинула ко мне лицо, жуткий взгляд.

— От тебя больницей пахнет, — она сказала, — вместо меня.

Отобрал у нее стакан, поднес к губам и залпом выпил все, что осталось от жгучего бренди. Вдруг понял, какое чувство одолевало меня с той самой

минуты сегодня утром, как вошел в стеклянный блеск приемной доктора Тодда. Неловкость. И Анна тоже ее чувствовала, уверен. Неловкость, да, прямо какая-то паника — не знаешь, что сказать, куда глаза девать, как себя вести, — да, и еще что-то, не то чтобы злость, а тоска, обида на незадачу, с которой столкнулись оба. Будто нам открыли секрет, до того мерзкий, гнусный, что уже почти невозможо терпеть друг друга, каждый знает, что другой тоже знает про эту гадость, и само знание связывает, и вырваться нету сил. С этого дня впредь будет сплошное притворство. Иначе со смертью не проживешь.

Анна сидела, выпрямившись, на меня не смотрела, бессильно протянула по столу руки ладонями вверх, будто ловила что-то.

— Ну? — Она не повернулась ко мне. — Что дальше?

Опять полковник крадется к себе в комнату. Долгонько он пробыл в клозете. Затруднение мочеиспускания — миленькие слова. У меня у единственного в доме комната, как мисс Вавасур выражается с жеманной гримаской, en suite[2]. А еще у меня — вид из окна, верней был бы, если б

---

[2] Сноски: 2
С дополнением *(франц.)*.

не эти треклятые дачки за садом. Ложе у меня итальянской работы, грозное, мощное, высоченное, достойное дожа, изголовье витое и отполированное, как скрипка Страдивари. Надо бы спросить у мисс В., откуда такое взялось. Наверно, при Грейсах это была главная спальня. Мне тогда не случалось подниматься выше первого этажа — разве что во сне.

Только сейчас заметил, какое сегодня число. Ровно год с того самого, первого визита, какой нам с Анной пришлось-таки нанести мистеру Тодду в его приемной. Совпадение. А может, и нет; бывают ли совпадения в царстве Плутона, в бездорожье пустынь, где плутаю я, безголосый, безлирный Орфей? Двенадцать месяцев, однако! Надо б дневник вести. Записки чумного года.

Сон меня сюда и привел. Я шел по сельской дороге в том сне, и всё. Зима, сумерки или, может, та странно лучистая ночь, какая только в снах и бывает. И падает мокрый снег. Я определенно куда-то иду, домой, кажется, но сам не знаю, где он, этот дом. Справа чистое поле, плоское, смутное, и ни дома, ни единой лачуги, а слева темные, хмурые стоят стеной вдоль дороги деревья. Ветки, хоть и зимние, почему-то не голые, и все роняют, роняют плотные, почти черные

листья, груженные снегом, который тут же преображается в нежный, искристый лед. Что-то разбилось, сломалось, машина, что ли, нет, велосипед, детский велосипед, потому что я во сне и такой, как сейчас, и в то же время я мальчик, большой неуклюжий мальчик, я иду домой, да, кажется, домой, или куда-то, где раньше был дом, и я сразу его узнаю, только б добраться. Идти еще долго, но мне все равно, сама по себе почему-то необыкновенно важна дорога, я должен ее одолеть. Я спокоен, я совершенно спокоен, я уверен, что все будет хорошо, хоть толком не знаю, куда иду, просто знаю: домой. Я на дороге один. Снег тихо валил весь день и теперь лежит белый, нетронутый, без единого следа — шин ли, сапог, копыт, — потому что никто не проходил по этой дороге и никто не пройдет. Что-то такое у меня с ногой, с левой ногой, видно, я ее повредил, давно, она уже не болит, но не слушается, при каждом шаге каким-то циркулем выбрасывается на сторону, мне это мешает, не то чтобы очень, но все же мешает. Сердце сжимается от жалости к самому себе, точней, мне, спящему, жалко того, кто мне снится, болвана, который отважно бредет под валящим, валящим снегом, и перед ним дорога, только дорога, и никакой надежды, что

она приведет домой.

Вот и весь сон. Дорога не кончилась, никуда я не вышел, больше ничего не было. Просто я шел, отчаянный, неколебимый, без конца продирался сквозь снег и сумрак зимы. Но проснулся я на хмуром рассвете не так, как обыкновенно в те дни просыпался, будто за ночь с меня содрали еще один защитный слой кожи, — нет, с убеждением, что сделано что-то или хотя бы намечено. И тут, уж и не знаю, с каких это пор впервые я вспомнил про Баллимор, про дом на Станционной, про Грейсов, про Хлою Грейс, и почему, сам не знаю, но было так, будто из тьмы я вдруг ступил под выплеск бледного, солнечного, соленого света. Длился он всего минуту, меньше минуты, этот блаженный свет, но он прояснил, что мне делать, куда мне податься.

В первый раз я увидел ее, Хлою Грейс, на пляже. Был яркий день с резким ветром, Грейсы заняли нарытую в дюнах приливами и ветрами узенькую площадку и, обосновавшись там лихо, с размахом, выглядели как на сцене. Снарядились они внушительно: линялый большой полосатый холст, распятый на кольях, защищал от холодящего бриза, складные стульчики, складной столик, в громадной плетеной корзине

величиной с небольшой чемодан посверкивали бутылки, и еще были термосы и жестяные коробки с бутербродами и печеньем; были даже настоящие, с блюдцами, чашки. Эта часть пляжа по умолчанию отводилась постояльцам гостиницы «Гольф», их лужок здесь сбегал прямо к дюнам, а потому стрелы негодующих взоров летели в беспечных дачников, куда не надо сунувшихся со своей пляжной роскошью и вином, но в Грейсов стрелы не попадали, Грейсы их не замечали. Карло Грейс, папочка, был опять в шортах, под полосатой курткой темнела грудь, совершенно голая, кроме двух шерстистых пучков в форме распростертых, кучерявых крыл. Я до тех пор, как, между прочим, и позже, не встречал никого столь дивно волосатого. На голову была перевернутым песочным ведерком нахлобучена парусиновая шляпа. Он сидел на складном стульчике, держал перед глазами газету и, несмотря на тугой ветер с моря, ухитрялся курить. Белоголовый мальчишка, тот, который на калитке качался, — Майлз, его тоже пора назвать, — на корточках у отцовых ног сердито ковырял песок отполированной и отвергнутой морем дощечкой. Чуть подальше, у самых дюн, девушка, или молодая женщина, под защитой красного махрового полотенца раздра-

женно выкручивалась — из мокрого купальника, безусловно. Странно бледная, томная, с длинным, тонким лицом и очень черными, тяжелыми волосами. Всё поглядывала, я заметил, с какой-то досадой, Карло Грейсу в затылок. И еще я заметил, что этот мальчишка, Майлз, посматривал искоса в явной надежде, которую я разделял, что с девушки соскользнет спасительное полотенце. Значит, едва ли она была ему сестра.

Миссис Грейс шла по пляжу. Она искупалась, и черный купальный костюм ее облепил и темно поблескивал, как тюленья кожа, а поверх была еще юбка с запахом, из чего-то такого прозрачного, закрепленная на поясе единственной пуговицей, и при каждом шаге она развевалась и видны были голые, загорелые, толстоватые, но красивые ноги. Миссис Грейс встала возле мужа, сдвинула к волосам свои эти очки в белой оправе, выждала такт, пока он опустит газету, взглянет на нее и, подняв руку с сигаретой, заслонит глаза от просоленно-острого блеска. Она что-то сказала, он набок склонил голову, дернул плечом и улыбнулся, выказывая сплошные и ровные белые мелкие зубы. Девушка у него за спиной, все еще под полотенцем, отшвырнула купальник, из которого наконец-то высвободилась, повер-

нулась задом, уселась, лбом уткнулась в колени, накинула на себя полотенце, и разочарованный Майлз вонзил дощечку в песок.

Вот вам все они, Грейсы: Карло Грейс, жена его Констанс, сын Майлз и девушка, или молодая женщина, которая, я вмиг догадался, была не та девочка, которая хохотала в доме в тот первый день, и все эти вещи при них, складные стульчики, чашки, бокалы с белым вином, и откровенная юбка на Конни Грейс, и смешная шляпа, газета и сигарета мужа, и досточка Майлза, и купальник, который так и валяется, как его отшвырнули, — крученый, опушенный по мокрому краю песком, как что-то, оставленное отливом.

Не знаю, долго ли Хлоя стояла на дюне, прежде чем прыгнуть. Может, она там все время была — подглядывала, как я за другими подглядываю. Сначала она была силуэтом, и солнце, ударив из-за спины, соорудило из стрижки сверкающий шлем. Но вот — протянула руки, тесно сжала коленки и прыгнула с дюнной стены. Ветер на секунду вздул шорты. Босая, она приземлилась на пятки, вихрем взметнув песок. Девушка под полотенцем — Роз, пора уж ее тоже назвать, бедную Рози — взвизгнула от испуга. Хлоя качнулась — руки все еще подняты, пятки в песке,

вот-вот повалится, плюхнется, но нет, устояла и косо, презрительно усмехнулась, глядя, как Рози трет глаза, в которые попал песок, с кислой миной трясет головой и моргает. «Хло-о-я!» — с укором протянула миссис Грейс, но Хлоя, не обращая на нее никакого внимания, прошла к брату, опустилась рядом на коленки и стала вырывать у него дощечку. Я лежал пузом на полотенце, уткнувшись щеками в ладони, и притворялся, что читаю. Хлоя заметила, что я на нее смотрю, и делала вид, что ей это безразлично. Сколько же нам тогда было? Десять? Одиннадцать? Скажем, одиннадцать, да, так верней. Грудь у ней была плоская, как у Майлза, бедра не шире моих. Поверх шортов — белая майка. Волосы выгорели почти добела. В борьбе за дощечку Майлз наконец победил, щелкнул сестру по костяшкам, Хлоя охнула, ткнула его в ключицу острым, маленьким кулачком.

— Вот, послушайте объявление, — проговорил папаша, ни к кому в частности не обращаясь, и, давясь хохотом, прочитал: «Требуются бойкие люди для сбыта жалюзи. Вождение машины обязательно. Обращаться по номеру двадцать три». Он хохотал, он кашлял, он хохотал, хохотал. — Бойкие люди! О господи!

Как плоско падают на море все звуки, плоско и все-таки гулко, как ружейные выстрелы, приглушенные далью. Массы песка, что ли, действуют как глушитель? Не помню, правда, когда мне случалось слышать ружейные выстрелы.

Миссис Грейс налила себе вина, пригубила, сморщилась и села на складной стульчик, одну на другую положив свои крепкие ноги и поигрывая пляжной тапкой. Роз на ощупь одевалась под полотенцем. Теперь в свою очередь Хлоя уткнула подбородок в колени — так ведь все девочки складываются (раньше, по крайней мере, так было) — поверженным зетом? — и обняла их руками. Майлз ткнул ее в бок своей дощечкой.

— Ну пап, — протянула она с ленивой досадой, — ну скажи ему, пап.

Отец продолжал читать. Тапочка Конни Грейс качалась в такт неизвестной, неслышной музыке. Прожаренный солнцем песок пахнул чем-то странным, едким. Белый парус в бухте дрогнул, хлопнул, поймав ветер, и на секунду мир накренился. По пляжу летали пестрые голоса. Дети. Купальщики. Рыжий мохнатый пес. Снова дрогнул парус, и я отчетливо слышал, как там, далеко на воде, щелкает и плещет брезент. Потом бриз опал, и все на мгновенье затихло.

Они играли, Хлоя, Майлз, миссис Грейс, дети перекидывались мячом через ее голову, а она бегала, прыгала, пыталась его поймать, в основном безуспешно. Когда она бегает, раздувается юбка, и я глаз не могу оторвать от темного опрокинутого треугольника под ее животом. Она прыгает — снова мимо, — задыхается, кричит и хохочет. Плещутся груди. Мне чуть ли не страшно смотреть. Существо, вынужденное таскать на себе столько взгорков и впадин, не должно так скакать, еще повредит что-нибудь внутри, в нежном устройстве своих желез, своих драгоценных хрящей. Муж опустил газету и тоже смотрит, расчесывая пальцами бороду, чуть раздвинув губы над мелкими сплошными зубами, и он раздувает ноздри по-волчьи, как бы помкнув. Азарт, веселая жадность, легкое презренье — все в этом взгляде; кажется, он хочет, чтоб она упала в песок и ударилась; я мечтаю стукнуть его, пихнуть прямо в эту волосатую грудь, как Хлоя пихнула брата. Я уже знаю этих людей, я среди них освоился. И я влюблен в миссис Грейс.

Роз появляется из-под полотенца в красной рубашке и черных шароварах, как ассистентка фокусника у него из-под плаща с багряным подбоем, и старательно ни на что не глядит, в

особенности на играющую со своими детьми женщину.

Вдруг Хлоя теряет к мячу интерес, отворачивается, плюхается в песок. Как хорошо я потом изучу все эти ее зигзаги, эти приливы хандры. Мать зовет играть, Хлоя не отвечает. Лежит, опершись на локоть, скрестив лодыжки, щурясь смотрит мимо меня, на море. Майлз у нее перед носом изображает шимпанзе, охлопывает себя ладонями по бокам, нечленораздельно лопочет. Она притворяется, что может смотреть сквозь него. «Бяка», — почти удовлетворенно кидает мать некомпанейской девчонке и снова усаживается на свой стульчик. Она задыхается, ходуном ходит склон груди под цвет песка. Она поднимает руку — отлепить ото лба мокрую прядь, и я отмечаю потаенную тень у нее под мышкой, цвета сливы, влажного цвета моих будущих снов. Хлоя дуется. Снова Майлз кромсает песок дощечкой. Мистер Грейс складывает газету, косится на небо. Роз изучает непрочную пуговку на рубашке. Плещут плоские мелкие волны, лает рыжий пес. А моя жизнь переменилась навеки.

Но в какой же миг из всех наших мигов совершенно, совершенно не меняется наша жизнь вплоть до самой последней, самой решительной

перемены?

Мы закатывались сюда каждое лето, мать, отец и я. Конечно, тогда мы так не говорили — закатывались. Мы приезжали сюда провести лето. До чего же трудно теперь говорить так, как мы говорили тогда. Мы приезжали сюда провести лето, приезжали ежегодно, много-много раз, покуда отец не смылся в Англию, как частенько бывало с отцами в то время и, если честно, сейчас тоже бывает. Дача, которую мы снимали, мало отличалась от макета деревянного домика в натуральную величину. Три комнаты, гостиная, она же кухня — это с фасада, а сзади две махонькие спальни. И никаких тебе потолков, только сводчатая изнанка толевой крыши. Стены обшиты нечаянно элегантной, узкой филенкой и в солнечный день пахнут краской и сосновой живицей. Стряпала мать на керосинке с крошечной дыркой для топлива, доставлявшей мне темную, тайную радость, когда ее прочищал, орудуя хитрым устройством из складного куска жести и проволочки, крепленной к нему под прямым углом. И где он теперь, наш крепкий и стойкий, наш маленький примус? Электричества не было, жгли керосиновую лампу, когда стемнеет. Отец работал в Баллиморе, возвращался на поезде

вечером, в бессловесной ярости, таща с собой неприятности дня, как багаж в узелке. Что делала мать, когда он уезжал, а я убегал куда-то? Так и вижу: сидит у стола, локтем в клеенку, склонив голову, и обижается, пока убывает медленный день. Она была еще молодая тогда, они были молодые оба, отец и мать, уж конечно моложе, чем я сейчас. Вот ведь странно. Все, кажется, моложе меня, даже мертвые. Вижу, как они, мои бедные родители, злобно разыгрывают на дому детство мира. Их несчастье было константой моих ранних лет — непрестанное жужжанье, высокое, недоступное слуху. Я не то чтобы их ненавидел. Наверно, даже любил. Просто они мне мешали, застили будущее. Со временем я научусь смотреть сквозь них, сквозь моих прозрачных родителей.

Мать могла купаться только там, где никто не купался, подальше от глаз, от гостиничных толп и шумных случайных становищ залетных горожан. За тем местом, куда сбегала гольфовая дорожка, постоянный песчаный вал, отступя от берега, огораживал мелкую бухту, ее-то мать и облюбовала. С робкой радостью барахталась в мелкой воде, не плавала, плавать она не умела, а плюхалась на воду и переступала руками по дну, старательно держа рот над ленивым при-

плеском. Помню — крипленовый купальник, мышино-розовый с узкой жеманной каймой, туго протянутой поперек, над самой промежностью. Лицо голое, беззащитное в тесной резиновой шапочке. Отец чудно плавал, ровными ударами наотмашь рубил воду, косясь, пыхтя и вытаращив один глаз. Вижу, как он наконец поднимается, задыхаясь, отплевываясь, — волосы облепили лоб, торчат уши, вздуваются плавки, — стоит подбочась и смотрит на жалкие усилия мамы с язвительной, мутной усмешкой, и на челюсти дрожит желвачок. Он ей плещет в лицо, хватает за руки, пятясь тащит за собой по воде. Она жмурится, вопит. Я наблюдаю эти неуклюжие забавы, изнемогая от отвращения. Но вот он ее отпускает, принимается за меня, опрокидывает, хватает за пятки, как тачку катит вдоль песочного вала и хохочет, хохочет. Какие у него были сильные руки, как железные холодные кандалы, я и сейчас ее чувствую, ту грубую хватку. Он был грубый человек, мой отец, шутки, жесты, все было грубо, но он был и робкий, и понятно, что он нас бросил, не мог не бросить. Я наглотался воды, отчаянно вывернулся, вскочил на ноги, стоял и блевал в прибое.

Хлоя Грейс и ее брат стояли на твердом песке у

края воды, смотрели.

Оба как всегда были в шортах и босиком. Я заметил, как поразительно они друг на друга похожи. Они собирали ракушки, Хлоя держала их в носовом платке, связанном уголками. Они стояли и нас наблюдали без всякого выраженья, как будто мы разыгрываем комический номер в их честь, а они его не находят ни смешным, ни интересным, просто чудным. Я, конечно, покраснел сквозь посинение и гусиную кожу, и я остро чувствовал, как тонкая струйка морской воды неостановимой дугой пробивала обвисший перёд моих плавок. О, если бы я только мог, я бы тут же вычеркнул, отменил моих постыдных родителей, прихлопнул, как зыбь морскую, — толстую, с голым лицом мать, отца, будто вытопленного из лярда. Бриз охлестнул пляж, вкось по нему пробежался, вздул пенку сухого песка, потом пошел по воде, ее разделывая на острые мелкие металлические черепки. Я дрожал, но уже не от холода, а как будто что-то сквозь меня пропустили — быстрое, тихое, неотвратимое. Парочка на берегу отвернулась и поплелась в сторону гиблого сухогруза.

Не в тот ли день я заметил, что пальцы ног перепончатые у Майлза?

Мисс Вавасур внизу играет на пианино. При-

держивается деликатного туше, чтоб не слышно было. Боится меня потревожить в моих титанических, невыразимо важных трудах. Играет Шопена, вполне сносно. Только б не ударилась в Джона Филда, этого я не вынесу. Я было пытался науськать ее на Форе[3], на последние ноктюрны в частности, — обожаю. Даже купил ей ноты, из Лондона выписал, потратился, между прочим. Зря размахнулся. Говорит, у нее пальцев на такое не хватит. *Скорей мозгов*, — не отвечаю я. Еретические, еретические мысли. И почему она замуж не вышла? Ведь красивая была, в своем этом томном духе. Седые, длинные волосы — а какие черные были — затягивает в пучок на затылке, крест-на-крест его протыкает двумя булавками, большущими, как вязальные спицы, по-моему, весьма некстати посягая на образ гейши. Японскую ноту длит надеваемый по утрам шелковый пеньюар на манер кимоно, перехваченный кушаком, весь в бамбуках и экзотических птицах. В остальное время дня она предпочитает разумный твид, но вечером может побаловать нас с полковником, прошуршав к столу в зеленом миди

[3] Сноски: 3

Джон Филд (1782–1837) — ирландский пианист, композитор, педагог; Габриель Форе (1845–1924) — французский композитор, дирижер, педагог, музыкальный критик.

с накидкой или испанского стиля малиновом болеро, черных широченных бананах и черных лаковых лодочках. Вполне себе элегантная старая дама, и под сурдинку трепещет, отмечая мой одобрительный взгляд.

«Кедры» почти ничего не сохранили от прошлого, от той части прошлого, какую я знал. Я рассчитывал хоть на какой-то след Грейсов, пусть полный пустяк, не важно, блеклую фотографию, позабытую в ящичке, локон, шпильку, застрявшую между половиц, но не было ничего, ничего. Даже духа их не осталось. Видимо, толпы живых — пансион как-никак — вытоптали следы мертвецов.

Как сегодня ярится ветер, большими, мягкими, неловкими кулаками тузит оконницу. Я всегда любил вот такие — ярые, яркие осенние дни. Осень всегда была для меня любимой порой, как для других, наверно, весна. Осень — пора трудов. Тут я совершенно согласен с Пушкиным. Да, мы с Александр Сергеичем — октябристы оба. Но вдруг заколодило, совсем не по-пушкински, — не пишется. Однако торчу за столом, перебрасываю абзацы, как фишки в игре, в которую уже не умею играть. Стол маленький, хилый, с независимой откидной столешницей, которую мисс

В. собственноручно приволокла и ненавязчиво преподнесла моему вниманию. Скрипи, скрипи, деревяшечка. Тут же и мой вертящийся капитанский стульчик, точно как был у нас с Анной когда-то в одной меблирашке, и даже стонет примерно так же, когда налегаю на спинку. Труд, которым я, считается, занят, — монография о Боннаре, скромный проект, в котором вязну уж столько лет, что даже лень сосчитать. Вполне себе великий художник, о котором, я давным-давно понял, не могу сообщить ровно ничего оригинального. Бабы в бане, — так Анна, хихикая, определяла. Bonnard, Bonn'art, Bon'nargue[4]. Нет, не идет мой труд, могу только фьюкать — фью-фью.

Вообще, труд — не то слово, которое стоит применять к моим занятиям. Труд — слишком крупно, слишком торжественно. Труд — это про великих. Что до людишек, как я, и слова нет такого для нашей деятельности — чтоб в меру скромно и достаточно точно. Баловство? Не принимаю. Балуются дилетанты, а мы — класс, вид, о каком толкую, — уж что-что, но во всяком случае профессионалы. Кстати, обойных дел

---

[4] Сноски: 4
Прекрасное искусство, прекрасная насмешка *(франц.)*.

мастера Вюйяр и Морис Дени[5] были точно так же усердны — вот вам еще одно ключевое словцо, — как друг Боннар, да только его маловато, увы, усердия. Мы не халтурщики, мы не лентяи. Мы даже бешено выкладываемся порой, но мы не созданы, фатально не созданы для длинных дистанций. Мы заканчиваем вещи, тогда как истинный труженик — поэт Валери, да, кажется, это он, — говорил, что вещь нельзя закончить, можно только отставить. Прелестный, кстати, этот случай с Боннаром в Люксембургском музее, когда он отряжает приятеля, как раз Вюйяра, если не вру, чтоб заговаривал зубы смотрителю, а сам хватает этюдник и давай переписывать место в собственной картине, которая там висела годами. Истинные труженики все умирают в терзаниях. Столько еще надо бы доделать, столько брошено незаконченным!

Ух. Опять кольнуло. Как бы не предвещало чего серьезного — все время эта гнусная мысль. У Анны же пошло с полных пустяков. За год я здорово поднаторел в медицине — неудивительно. В частности, знаю, что покалывание в конечно-

---

[5] Сноски: 5

Эдуард Вюйяр (1868–1940) — французский художник, друг Боннара; Морис Дени (1870–1943) — французский художник, иллюстратор, изготовитель витражей и гобеленов.

стях — ранний симптом рассеянного склероза. Покалывание налицо, и это еще слабо сказано. Прямо жгучий укол, сразу много уколов, в руку, в затылок, а то, помню, ужалило в большой палец правой ноги так, что я прыгал на одной ножке по комнате, жалостно, горько мыча. Боль, правда, быстро проходит, но дикая. Как тест на витальные признаки; на наличие чувств; наличие признаков жизни.

Анна посмеивалась над моей мнительностью. Дала мне прозвище: Доктор Макс. *Ну как сегодня Доктор Макс? Неважно себя чувствует?* Она абсолютно права, кто спорит, я от роду нытик, вечно ношусь с каждой царапиной, с малейшим недомоганием.

Ага, заявился мой дрозд, каждый вечер прилетает невесть откуда, устраивается на падубе возле сарая. Он, замечаю, задает себе на деревьях какой-то урок, перелетит с верхней ветки пониже, потом еще ниже, а там успокоится и трижды свистит — победно, пронзительно. У каждой твари своя повадка. Вот из глуби двора нежной поступью барса крадется пестрый соседский кот. Берегись, моя птичка. Траву бы не мешало скосить, хоть разок еще в этом году. Предложу свои услуги. Не успел подумать, и вот уже в жилетке

и брюках гармошкой потно бреду за газонокосилкой, трава набивается в рот, жужжат мухи над головой. Странно, то и дело вижу себя так вот, как бы издали, как будто я — кто-то другой, не я, и делаю что-то, что только другой может делать. Скажем, косить лужок. Сарай, хоть развалющий, вполне красив, если смотреть на него сочувственным взглядом. Бревна выветрились до серебристой, шелковой сизости, как ручка заслуженного орудия — лопаты, верного топора. *Старые бабы в бане* дивно вписались бы в эту текстуру — тихий лоск, тихий блеск. Фью-фью-фью.

Клэр, моя дочь, прислала письмо, интересуется, как я. К сожалению, не ахти, прекрасная Кларинда, отнюдь не ахти. Звонить она не звонит, я предупредил, что не буду отвечать, особенно на ее звонки. Не то чтоб мне обрывали телефон — никто и не знает, где я, никому кроме нее не докладывался. Сколько ей сейчас, двадцать с чем-то, точно не помню. Дико способная, такой синий чулок типичный. Но некрасивая, в этом я давно убедился. Не стану врать, что не огорчался, я же думал, из нее вторая Анна получится. Слишком она рослая, сильная, жесткие, непослушные рыжие волосы топорщатся вокруг веснушчатого лица, и ей совсем это не идет, в улыбке она демон-

стрирует верхние десны, блестящие, бледные. Глядя на эти длиннющие тонкие ноги, большую задницу, особенно на длинную шею — хоть что-то взяла от матери, — всегда вспоминаю сконфуженно картинку Тенниела[6]: Алиса уже куснула волшебного гриба. Но девушка она мужественная, храбро борется с собою и с миром. Гарцует с едким, унылым юмором — он часто присущ дурнушкам. Заявилась бы вдруг сюда, влетела бы, плюхнулась на мой диван, сунула руки между колен, свесила, чуть не до полу, поджала бы губы, надула щеки — ф-фу! — и завела бы литанию всех комических казусов, в какие вляпывалась с тех пор, как мы с ней видались. Ах, Клэр, девочка моя хорошая.

Увязалась за мной, когда в первый раз отправился сюда, в Баллилесс, после того сна — ну, про то, как иду под мокрым снегом домой. Побаивалась, видно, как бы я утопиться не вздумал. Не знает она, какой я трус. Что называется, тряхнули стариной — издавна были большие любители покататься. Еще когда она была совсем клоп и не могла ночью заснуть — изначально страдала бессонницей, вся в папочку, — я кутал ее в одея-

[6] Сноски: 6

Сэр Джон Тенниел (1820–1914) — английский художник, карикатурист, иллюстратор Льюиса Кэрролла.

ло, совал в машину и вез далеко по дороге вдоль меркнущего моря, бормоча все подряд песенки, в которых хоть с пятого на десятое помнил слова, но вместо того, чтоб баюкать, они ее приводили в восторг, и она хлопала в ладоши, после чегстс новой силой принималась реветь. Как-то, потом уже, мы даже вздумали отдохнуть на колесах, парочкой, — большая ошибка, ей, подростку, мигом осатанели виноградники, дачи, моя компания, и она жутко меня доставала, пока я не сдался и раньше времени ее не отвез домой. Наша поездочка сюда оказалась не сильно лучше.

Был роскошный, ох, прямо-таки роскошный осенний день, — собрав всю медь и золото Византии под лазурной глазурью небес Тьеполо, он стоял, на себя не совсем похожий, как хрустальный, как собственное отражение в ясной воде. В такие вот дни с некоторых пор солнце для меня — сальный глаз, с наслаждением посматривающий, как тут корчусь от горя. Клэр была в замшевом просторном пальто мышиного цвета, от него в автомобильном тепле пованивало чуть заметно, но безошибочно плотски, и я терзался, хоть, конечно, ни звука ей не сказал. Вообще, я страдаю — как бы сказать? — слишком острым восприятием, что ли, той смеси запахов, кото-

рые идут от людей. Ну, может, страдаю — не то слово. Люблю же, например, буроватый запах женских волос, когда их пора помыть. От моей дочери, брезгливой старой девы — увы, не сомневаюсь, мужа ей не видать — обычно ничем не пахнет таким, чтоб я уловил. Опять-таки — не в мать, чей грубый дух, а для меня томный запах самой жизни, крепчайшими духами не перебить, перво-наперво меня приманил тогда, в тот баснословный год. От моих рук теперь, даже страшно, пахнет чуть-чуть похоже, пахнет ею, не отделаться, как их ни тру. В последние месяцы от нее пахло в лучшем случае фармакопеей.

Когда приехали, я даже удивился, что деревня еще сохранилась в общем такой, как я помнил, пусть на глаза, какие знают, куда смотреть, то есть на мои глаза. Вот как встречаешь старую пассию и в набрякших чертах угадываешь нежный облик, какой когда-то любил. Миновали заброшенную платформу, вкатили на мосток — уцелел, тут как тут, голубчик! — что-то, как раньше, сорвалось у меня под ложечкой, что-то покатилось внутри, и вот — просияло: дорога, и берег внизу, и море. Есть минуты, когда прошлое набирает такую силу, что кажется — сотрет тебя в порошок.

— «Кедры»! — хрипло крикнул я. — «Кедры»! —

По дороге я успел рассказать ей все, ну почти все про «Кедры». — Где они жили!

Она извернулась на сиденье, глянула.

— Чего ж не остановился?

Что я мог ответить? Что меня парализовала робость — вдруг, посреди затерянного мира? Я прорулил дальше и свернул на Береговую. Береговое Кафе исчезло, сменилось большим приземистым зданием, редким уродом. А вот и две гостиницы, поменьше и пооблезлей, конечно, чем их сберегала память, и над гостиницей «Гольф» важно реет огромный флаг. Даже из машины я слышал, как пальмы мечтательно плещут сухими листами — звук, который в лиловые, летние, давние ночи сулил все чудеса Аравии. Сейчас, в смуглом свете октябрьского вечера, — уже потягиваются тени, — все блеклое, как на старинной почтовой открытке. Бакалея Майлера (плюс почта, плюс паб) разрослась аляповатым супермаркетом с асфальтовой парковкой для покупателей. Я припомнил, как в тихий, пустой, от солнца слепой день полвека назад здесь, на гравийной дорожке у Майлера, меня встретил мелкий, невинного вида пес, когда я протянул к нему руку, ощерился, — что я ошибочно счел любезной улыбкой, — с редким проворством

сощелкнул челюсти у меня на запястье и убежал, ухмыляясь, или так мне казалось, а когда я пришел домой, мать меня костерила за глупость — тянуть руку к эдакой твари! — погнала одного к местному доктору, и тот, светский, лощеный, кое-как наложив пластырь на мою приятно розовеющую вздутую цевку, мне велел догола раздеться и сесть к нему на колени, с тем чтобы он, удивительно белой, пухлой рукой с маникюром жарко давя мой живот, мог меня научить, как правильно надо дышать. «Распусти живот, не втягивай, понял?» — ворковал он, приникая мягким, большим жарким лицом к моему уху.

Клэр бледно усмехнулась.

— И какой же след оказался прочней — от собачьих зубов или от докторской лапы?

Я ей показал руку, где на запястье до сих пор белеют два шрама от свирепых собачьих клыков.

— Тут тебе не Капри, — сказал я. — Да и доктор был, извини, не Тиберий[7].

Но если честно, об этом дне у меня сохранились самые теплые воспоминания. Так и помню — запах послеобеденного кофе от доктора, бегающие глазки экономки, изучающие меня на крыльце.

---

[7] Сноски: 7

Римский император Тиберий Клавдий Нерон (42 г. до Р. Х. — 37 г.) в конце жизни удалился на остров Капри.

Мы с Клэр добрались до Полей.

Собственно, теперь никакие это не поля — жалкие участки, один к другому впритык, с дачками, тяп-ляп понастроенными левой ногой того же умельца, подозреваю, который ответствен за уродов в глубине сада. Однако я рад был отметить, что местечко, при всей своей пошлости, носит названье Люпины и что строитель — ведь был же строитель — даже пощадил высокий подрост этих скромных диких кустов — Lupinus Papilionaceae, я проверял, — подле комически величавых, ложноготических ворот у въезда с дороги. Вот под такими точно кустами отец, выбрав ночь потемней, с фонариком и лопатой, чертыхаясь себе под нос, раз в две недели выкапывал яму в мягкой песчаной земле и захоранивал ведро помоев из нашего биосортира. Едва поймаю слабый, странно человеческий запах люпинов — меня настигает вкрадчивый, сладкий дух нечистот.

— Ты вообще-то собираешься остановиться? — простонала Клэр. — Меня скоро от этой машины стошнит.

С годами во мне крепнет иллюзия, что дочь меня догоняет по возрасту, так что сейчас, например, мы с ней примерно ровесники. Видимо, это неизбежно, когда имеешь столь продвинутого

ребенка — продолжала бы свое дело, ей светила такая карьера ученого, какая мне и не снилась. И еще: меня она раскусила до такой степени, что даже страшно, и не склонна прощать моих бзиков и крайностей, как прощают те, кто меня хуже знает, а потому больше боится. Но я обездолен и уязвлен, я нуждаюсь в снисхождении. Если есть формула отпущения грехов поразвернутей — ничего мне больше не надо. *Оставь ты меня в покое*, — воззвал я к ней без единого слова, — *дай мне проскользнуть мимо старых поруганных «Кедров», мимо стертого Берегового Кафе, мимо этих Люпинов, мимо бывших Полей, мимо всего, что было. Не то растекусь позорнейшей лужей слез.* Тем не менее я кротко прижался к обочине, и она вышла в злобном молчании и так хлопнула дверцей, будто мне надрала уши. И что я ей сделал, чем уж так насолил? Иногда на нее находит — вылитая мать.

Но вдруг, против всех вероятий, из-за гномических построек Люпинов глянула на меня дорога к Дуиньяну, вся, как и прежде, в ухабах, бойкой иноходью труся между косматым боярышником и пыльной стеной куманики. Как она устояла под напором кранов и грузовиков, как снесла надругательства бульдозеров и лопат? Здесь я в детстве

каждое утро ходил, босой, с побитым бидоном, за молоком к Дуиньяну, молочнику, и его стоически веселой, задастой жене. Помню, солнце уже высоко, но холод еще затаился в булыжниках, и куры, поджимая лапки, жеманно переступают между собственных зелено-меловых катышков. Собака, всегда привязанная к передку телеги, оценивающе наблюдает, как я пробираюсь на цыпочках, чтобы не вляпаться в куриный помет, а мышастый коняга, подойдя изнутри к двери денника, кладет на нее морду и весело, искоса смотрит на меня из-под челки точно того же оттенка, как дымно-бежевые цветки жимолости. Я не стучался в дом, я боялся матери Дуиньяна, старой, низкой, квадратной, как стол на коротких ножках, — она сопела, пыхтела, свешивала над нижней губой огромный, мокрый, бледный язык, — и дожидался в лиловой тени денника, пока хозяин или его половина меня избавят от встречи с каргой.

Дуиньян был долговязый болван, с соломенными жидкими волосами и невидимыми ресницами. В миткалевой открытой рубахе, каких уже тогда никто не носил, в вислых штанах, сунутых в заляпанные резиновые сапоги. В погребе, наливая мне молоко, он похабно-сиплым тоненьким

голоском — скоро он умрет от болезни горла — наводил разговор на девочек: он-то знает, у меня есть подружка, интересно только, разрешает ли себя целовать. А сам не отрывает глаз от длинной тонкой струи молока, стекающей в мой бидон, улыбается, быстро-быстро хлопает этими своими ресницами. Какой ни противный, чем-то меня он притягивал. Казалось, что ли, что у него откровенье за пазухой, что вот извлечет оттуда похотливую картинку, приоткроет мерзкое знание, ту зону, куда допускаются только взрослые. Погреб был низкий, квадратный, штукатуреный, белый до жути, даже впадал в синеву. Маслобойки стояли стальными коренастыми часовыми в плоских шляпах, и солнечный сноп от двери всем раздавал одинаковые белые ордена. Большие низкие чаны с молоком, кутаясь в марлю, задумчиво ждали на полу сепарации, и была еще старинная деревянная маслобойка, я всегда мечтал застать ее в деле, но так и не вышло. Прохладный, густой, потаенный дух молока наводил меня на мысль о миссис Грейс, и даже меня подмывало сдаться на подходцы Дуиньяна, ему про нее рассказать, но я удерживался — правильно делал, конечно.

И вот снова я у ворот фермы, да только мальчик подрос, стал плотным с сильной проседью

господином, чуть ли не стариком. Дурно намалеванная табличка на воротном столбе под страхом суда запрещала вход посторонним. Клэр у меня за спиной что-то жужжала про фермеров, про дробовики, я не слушал. Я шел по булыжникам — тем же бульркникам! — я не шел, меня волокло, как тяжелый, осевший аэростат, перехватывало дух, толкало ударами памяти. Вот и он, денник с укороченной дверцей. Ржавая борона притулилась там, где стаивала тележка Дуиньяна — или память мне только подсовывает эту тележку? И погреб тут как тут, но заброшенный, дверь На замке, хоть невозможно себе представить зачем, окна ослепли от грязи, а где и разбиты, на крыше трава растет. Спереди к ферме присобачено хитрое крыльцо, сплошь стекло, алюминий: сильно похоже на рудиментарный глаз гигантской стрекозы. Наконец в его глубине отворилась дверь, молодая — или старая? — женщина вышла, замерла за стеклом и осторожно меня разглядывала. Я кинулся вперед, осклабясь, кивая, — так идиот-миссионер приближается к крохотной королеве по счастью еще не обращенного пигмейского племени. Сначала она таилась за стеклом, и я к ней взывал сквозь него, выкликал собственное имя, страстно жестикули-

ровал. Она стояла, смотрела. Похожая на юную актрису, тщательно, но не вполне убедительно загримированную старухой. Волосы, крашенные в цвет сапожной коричневой ваксы, завитые в тугие блестящие кудерьки, слишком пышны для личика с кулачок и, стоя вокруг него нимбом из спутанного терновника, похожи скорей на парик. Линялый фартук поверх джемпера явно собственной вязки, протертые мужские штаны, на ногах — пронзительно-синие вельветовые полусапожки на молнии — в моей молодости мечта всех пожилых дам, теперь-то они перешли исключительно к нищенкам и алкоголичкам. Я ей проорал сквозь стекло, как я жил здесь ребенком, на даче в Полях, как по утрам ходил на ферму за молоком. Она слушала, кивала, и живчик взбухал и таял в углу рта, будто она боялась расхохотаться. Наконец открыла дверь крыльца, вышагнула на булыжники. В своем состоянии эйфорического полупомешательства — я правда смехотворно растрогался — я чуть не бросился ее обнимать. Лепетал про Дуиньянов, мужа с женой, про его мать, про погреб, даже про коварного пса. Она все кивала, вздернув недоверчивые брови, смотрела мимо меня, на Клэр, которая стояла, ждала, сложив руки под грудью, запахиваясь в

свое просторное, дорогое, мехом отороченное пальто. Аврель — так, она сказала, ее зовут. Аврель. Фамилию не предъявила. Смутно, из давно забытых темнот, всплыло: девочка в грязном дыму на мощеных задворках фермы небрежно держит за гнутую ручку розового, лысого голыша и смотрит на меня упорным, неотрывным и строгим взглядом. Но эта особа передо мной, конечно, не та девочка, той же теперь — ну сколько? За пятьдесят? Может, та, в моей памяти, сестра этой, но гораздо старше, то есть куда раньше родилась? Возможно такое? Нет, Дуиньян умер молодым, чуть за сорок, и невозможно, конечно, чтоб эта Аврель была ему дочерью, ведь он же был взрослый, когда я был мальчик, и… Мой ум спотыкался об эти выкладки, как старый, заезженный вьючный конь. Аврель, однако. И кто это в здешних краях мог подарить своему ребенку столь нежновесеннее имя?

Я снова спросил про Дуиньянов, и Аврель ответила — да, Кристи Дуиньян помер — Кристи? Разве я знал, что Дуиньяна звали Кристи? — а миссис Дуиньян, та жива еще, в приюте, где-то по берегу. «А Патси свое хозяйство завел у Старого Замка, а Мэри в Англию подалась, а бедный Уилли, тот тоже помер». Я кивал. Вдруг я понял, что

больше не могу их всех выносить, этих отростков от древа Дуиньянов, одни имена которых так основательны, так реальны, — фермера Патси, эмигрантку Мэри и крошку Уилли, который помер, — топчущихся на моей приватной церемонии вспоминанья, как незваные бедные родственники на модных похоронах. Я не знал, что сказать. Эйфория как налетела, так и улетучилась, вдруг я отяжелел, я выпал из темы, я стоял, как дурак, улыбался, малодушно кивал, из меня вытекал последний воздух. Аврель, кроме имени, все не сообщала о себе ничего, считала, видимо, что я вспомню, узнаю, — но как, откуда, хоть она и стояла на том месте, где был некогда вход к Дуиньянам? Меня удивляло, что она так много знает про Дуиньянов, раз сама не состоит с ними в родстве, по крайней мере в прямом, ведь все эти Уилли, Мэри и Патси уж точно не родители ей, она бы уж сообщила. Вдруг моя тоска сгустилась, взбухла досадой на нее, как будто она по жуткой какой-то причине сюда заявилась в этом неубедительном гриме — хнойные волосы, старушечья обувь — нарочно, посягая на уголок из моего драгоценного мифа. Сероватое лицо, я заметил, сплошь было в мелких веснушках. Не рыжеватых, как вот у Клэр, и не крупных, рас-

плывчатых, какие когда-то взбегали по странно девичьим предплечьям Дуиньяна, и не таких, опять же, как, будь неладны, недавно повадились ко мне на изнанку ладоней и на цыплячье-белую кожу по окату плеч возле ключиц, — нет, эти были гораздо темней, прямо как тускло-коричневое пальто Клэр, не больше булавочного укола, и, к сожалению, намекали на хроническую, общую нечистоплотность. Что-то такое они мне напомнили, а что — непонятно.

— А у меня, знаете ли, — сказал я, — жена умерла.

Не постигаю, зачем надо было это брякать. Надеюсь, хоть Клэр не услышала. Аврель уставилась на меня, без выражения, явно ожидая, что я что-то прибавлю. А что я мог прибавить? Некоторые объявления в подробностях не нуждаются. В знак сочувствия она повела плечом и скривила рот.

— Жалко, — сказала она плоским, пустым голосом. — Очень печально слышать. — По ней это было не очень заметно.

Осенние лучи падали косо во двор, синевато подсвечивали булыжник, на крыльце горшочки герани кичились огненными цветами, последними в этом сезоне. Да уж, скажу я вам, наш бренный мир.

Шерстистой тишью гостиницы «Гольф» мы, моя дочь и я, пользовались, кажется, безраздельно. Клэр пожелала чаю, я заказал, и нас препроводили в ледяную оранжерею с видом на берег и отступившее море. Несмотря на стужу, здесь еще медлил след былых утех. Запах пивных опивков мешался со стоялой вонью сигаретного дыма, а на помосте в углу, как бы затесавшись сюда из вестерна, скалило щербатую клавиатуру пианино с откинутой крышкой. После встречи с Аврель на душе у меня кошки скребли, я чувствовал себя примерно как дива, семенящая со сцены после кошмара сорванных верхов, прозеванного вступления, перевранного либретто. Мы с Клэр уселись рядышком на диване, и тотчас рыжий нескладный юнец в черном официантском фраке и в брюках с лампасами вошел с подносом, со стуком его поставил перед нами на низенький столик и сразу исчез, оступаясь в больших башмаках. Чайный пакетик — гнусное изобретение, моему, возможно, чересчур брезгливому глазу он напоминает некий предмет, по рассеянности оставленный несмытым в сортире. Я налил себе чашку зеленовато-бурого чая, укрепил его рюмашкой из своей плоской фляги: всегда имею про запас укрепляющее, научился за прошлый

год. Вечерний свет был уже грязный, студеный, и сизой стеной воздвигалась на горизонте плотная туча. Волны когтили уступчивый песок у самого берега, пробовали вгрызться, окопаться, да не получалось у них. Там было больше пальм, взъерошенных, хилых, с серой грубой на вид корой, как слоновья кожа. Стойкая, видно, порода, раз выживают в холодном северном климате. А помнят их клетки каленый жар пустыни, вот что интересно? Дочь, ссутулясь в своем этом пальто, грела руки о чашку с чаем. Я увидел детские ногти, их лиловатый цвет, у меня сжалось сердце. Свой ребенок, ничего не попишешь.

Заговорил про Поля, про дачу, про Дуиньянов.

— Ты живешь прошлым, — заявила она.

Тут я чуть не сорвался, но смолчал. Что же, она права. Ведь жить, по-настоящему жить, считается, это значит бороться, действовать и дерзать, тупой башкой пробивать стену мира, нечто в таком разрезе, ну а я, озираясь назад, вижу, что все мои силы ушли, в основном, на нехитрые поиски крова, удобства, да, и, прошу прощенья, уюта. Удивительное, чтоб не сказать потрясающее открытие. Я-то воображал себя пиратом, который всех соперников встречает с абордажной саблей в зубах, и вот — вынужден признать,

это был типичный самообман. Крова, охраны, опеки, покоя — вот чего, оказывается, жаждала душа, — свернуться калачиком в утробном тепле, сжаться, укрыться от холодного взора небес и вредоносных земных испарений. Вот почему я спасаюсь прошлым, с радостью в него ухожу, умываю руки, отрясаю прах холодного настоящего, еще более холодного будущего. Да, но все же — было ведь что-то в этом прошлом? В конце концов, это всего-навсего прежнее настоящее, былое, — было, прошло, и нет его, и все дела. Да, но все же.

Клэр по-черепашьи втянула голову в броню своего пальто, смахнула туфли, обняла ступнями ножку столика. И почему они всегда такие трогательные, женские ноги в чулках, может, думаю, из-за того, что пальцы туго сбиты под шелком, как будто они слитные. Вот у Майлза Грейса, у того, естественно — неестественно, — были такие пальцы. Когда он их раздвигал, с той же легкостью, как растопыривают пятерню, перепонки растягивались во что-то тонкое, как тенетник, розовое, сквозное, как лист, пронизанный сетью прожилок, красное, как прикрытое пламя, как знак божка, — нет, честное слово.

Вдруг, сквозь ровно загустевающую синь ве-

чера, мне представилось семейство плюшевых мишек, друзей детства моей Клэр. Чуточку противноватых, слишком живых, по-моему. Наклоняясь над ней в зернистом свете настольной лампы, чтобы поцеловать на ночь, я чувствовал, что из-за края одеяльца меня наблюдают шесть пар крошечных, блестящих стеклянных глаз, влажно-карих, застывших, подозрительно возбужденных.

— Твои lares familiares[8], — сказал я. — Небось и по сей день у тебя, на твоей девичьей постельке?

Солнце падало очень косо на берег, делая белым, как кость, песок у приплеска, и чайка, пронзительно-белая на фоне сплошной тучи, пролетела на серповидных крыльях, беззвучно ими хлопнула, повернула и ушла, смыкающийся шеврон, в неспокойную черноту волн. Клэр минуту посидела не шевелясь, потом заплакала. Ни звука, только слезы, как шарики ртути в последнем свечении моря, падавшем на нас с высокой стеклянной стены. Такой молчаливый, почти рассеянный плач — это у нее тоже от матери.

— Не ты один мучаешься, — сказала она.

Я, собственно, так мало ее знаю, родную дочь.

---

[8] Сноски: 8
Домашние лары *(франц.)*.

Как-то раз, когда ей было двенадцать, тринадцать — балансировала на пороге половозрелости, — я ошибкой вломился к ней в ванную: забыла запереться. Стояла голая, только полотенце тюрбаном на голове. Глянула на меня через плечо в тихом свете матового окна, преспокойно на меня глянула из собственной безмятежности. Груди только наметились, но уже был у нее этот наливной зад. Что я тогда почувствовал? Полное смятение, прослоенное нежностью и каким-то страхом. Через десять лет забросила свою историю искусства — Воблен, стиль fête galante[9], вот какая у меня девочка, точней, какая была — и взялась за обучение отсталых детей во все ширящемся районе все более кошмарных трущоб. Так загубить свой талант. Я ей не мог простить, до сих пор не могу. Уж стараюсь, но у меня не выходит. И все из-за своего этого книжника со скошенным подбородком и идеями равенства — нашла в кого втюриться. Роман — если был роман, подозреваю, она до сих пор девица — кончился для нее плохо. Мерзавец уговорил ее бросить то, что могло бы стать делом жизни, ради пустого социального жеста, а сам смылся, оставив мою бедную девочку

---

[9] Сноски: 9
Изящный праздник *(франц.)*.

на бобах. Я хотел найти его, убить. По крайней мере, я просил, позволь мне хоть нанять хорошего адвоката, надо вчинить ему иск за нарушение обязательств. Анна говорила — ах, оставь, не суйся ты в это дело, ты все только усугубляешь. Она была тогда уже больна. Что я мог сделать?

Снаружи густели сумерки. Море, молчавшее до сих пор, начинало угрюмо ворчать — видно, надвигался прилив. Клэр перестала плакать, и слезы висели, не стертые, она их не замечала, наверно. Меня передернуло; теперь меня то и дело бросает в дрожь, вечный какой-то озноб.

Кто-то крупный, в визитке, вошел в дверь у нас за спиной, приблизился беззвучным шагом, искательно заглянул мне в лицо и, поймав мой взгляд, удалился. Клэр шмыгнула носом, порылась в кармане, нашла платок и трубно высморкалась.

— Смотря что, — сказал я терпеливо, — ты понимаешь под словом «мучиться».

Она промолчала, убрала платок, вскочила и стала хмуро озираться, как будто отыскивая что-то глазами, сама не зная что. Сказала, что меня обождет в машине, и вышла, свесив голову, глубоко сунув руки в карманы этого скроенного из шкур пальто. Я вздохнул. На темнеющем небе чайки поднимались и падали, как оторванные от

тряпья лоскуты. Тут только я заметил, как у меня раскалывается голова, боль неосознанно билась у меня в черепушке с тех самых пор, как мы вошли в этот затхлый стеклянный ящик.

Вернулся как лисенок робкий мальчик-официант, приблизился, нагнулся за подносом, свесив со лба рыжую прядь. При такой своей масти тоже небось из племени Дуиньянов, младшая ветвь. Я спросил, как его зовут. Он замер, неловко согнулся углом от пояса, смотрел на меня из-под бледных бровей, тревожно соображая. Лоснистый фрак, обшарпанные, грязные обшлага рубашки.

— Билли, сэр, — был ответ.

Дал ему монету, он поблагодарил, сунул ее в карман, взял поднос, повернулся, собрался уйти, замешкался.

— С вами все в порядке, сэр?

Я вытащил ключи от машины и тупо разглядывал. Все на свете казалось чем-то еще. Я сказал — да-да, все в порядке, и он ушел. Тишина сомкнулась, плотная, как море. Гнусно щерилось на помосте щербатое пианино.

Когда выходил из холла, тот, в визитке, меня настиг. Крупное, восковое, до странности никакое лицо. Осклабленно кланялся, тискал руки перед грудью прямо оперным жестом. Ну что мне в

этих людях, зачем их запоминать? Весь елейный, а все-таки страшноватый. Может, и этот ждал чаевых? Я ж говорю: бренный мир.

Клэр ждала у машины, ссутулясь, рукава пальто используя в качестве муфты.

— Могла бы ключи попросить, — я сказал. — Думала, что ли, не дам?

На пути домой она у меня вырвала руль, хоть я бешено сопротивлялся. Была уже глубокая ночь, пучеглазые фонари вдруг выхватывали из тьмы деревья, белесые, безлистые пугала, и так же вдруг они исчезали, падали в мрак с обеих сторон, как скошенные нашей скоростью. Клэр вся подалась вперед, чуть носом не ткнулась в ветровое стекло. Свет от приборного щитка был как зеленый газ, и лицо у нее стало прямо призрачное. Я потребовал, чтоб она отдала мне руль. Она сказала, что я слишком пьян для этого. Я всю фляжку вылакал, она видела, да, она заметила, там ничего не осталось. Я сказал — не ее это дело, и нечего меня шпынять. Опять она ударилась в слезы, и сквозь слезы она на меня орала. Я сказал, что даже пьяный представляю собой меньше опасности за рулем, чем она в таком состоянии. Ну и пошло, и поехало, ох, как ее понесло. Я не остался в долгу, ей напомнил, ради точности все-

го-навсего, что добрую половину, злую половину то есть — Господи, до чего же беден язык, как не приспособлен к данному случаю, — того года, который заняло у ее матери умирание, сама она была за границей, носилась со своей наукой, а я остался один и вертелся как мог. Это дошло. Она хрипло застонала сквозь стиснутые зубы, застучала ладонями по рулю. И давай меня костерить. Оказывается, я *выжил Джерома.* Я онемел. Джерома? Джерома? А-а, ну конечно, это она про своего этого гада без подбородка — очень он много ей сделал хорошего, — одно время предмет ее нежных чувств. Джером, да-да, так, довольно неувлекательно, звали мерзавца. Но каким же образом, осведомился я сдержанно, каким образом я *его выжил*? В ответ она только фыркнула, тряхнув головой. Я задумался. Да, действительно, да, я считал, что он ей не пара, на что ему и указывал достаточно определенно, притом не однажды, но у нее же выходит так, будто я прямо кнутом размахивал, за ружье хватался. И вообще. Если моего протеста оказалось достаточно, чтоб *его выжить*, чего ж после этого стоит его характер или его настойчивость? Нет уж, нет уж, от таких лучше подальше — ясно как день. Но сейчас я ничего больше не стал говорить, оставил все

при себе, и через милю-другую она поостыла. С женщинами всегда так, я заметил, — не спорь, выжди, и будет по-твоему.

Когда добрались до дома, я сразу вошел, оставил машину на ее совести, по телефонной книге отыскал номер «Кедров», позвонил мисс Вавасур и сказал, что хотел бы снять у нее одну комнату. Потом поднялся к себе, в кальсонах залез в постель. Вдруг я смертельно устал. Ссоры с собственной дочерью, в общем, только здоровье портят. Я тогда уже перебрался из нашей с Анной общей спальни в пустую комнату над кухней, где была раньше детская и стояла низкая, узкая, почти походная кровать. Я слышал, как Клэр внизу, на кухне, бренчит кастрюлями и сковородками. Я ей не говорил пока, что решил продать дом. Мисс В. по телефону осведомилась, как долго я намерен пробыть. В голосе дрожало удивление, почти подозрительность. Я напускал нарочно туману. Ну, несколько недель, может, месяцев. Томительную минуту она молчала, раздумывала. Упомянула полковника: постоянный жилец, устоявшиеся привычки. Я не стал комментировать. При чем тут полковники? Пусть целый офицерский корпус у себя приютит, мне-то что? Белье, сказала, придется сдавать в прачечную. Спросил, помнит

ли она меня. «Да, — был ответ без всякого выражения, — да, конечно я помню».

Услышал шаги Клэр на лестнице. Перестала яриться, шла тяжело, печально. Конечно, и для нее ссоры — тоже зряшное, утомительное занятие. Я оставил дверь приоткрытой, но она не вошла, только вяло спросила в щель, не хочу ли поесть. Я еще не включил лампу, и длинный, острый клин света с площадки падал на линолеум, стрелкой указывая на детство, ее и мое детство. Когда была маленькая, спала на этой кроватке, она любила слушать, как стучит моя пишущая машинка в кабинете внизу. Такой уютный звук, говорила, как будто бы я слушаю: вот ты думаешь; хоть не представляю себе, как звук моих мыслей может хоть кого успокоить, по-моему ровно наоборот. Ах, да когда это было — эти дни, эти ночи. И все равно, нечего было так орать на меня в машине. Я не заслуживаю, чтоб так на меня орали. «Папа, — повторила она, и было, кажется, уже раздражение в голосе, — ты будешь ужинать, нет?» Я не ответил, она ушла. Я живу прошлым, видите ли.

Отвернулся к стене, от света. Согнул колени, и все равно ноги не помещались в кровати. Ворочаясь в путанице простынь — постельное белье

вечно меня раздражает, — поймал теплый, сырный, мой собственный запах. До того как Анна заболела, я к своим собственным физическим проявлениям относился с нежной досадой, как обычно люди относятся — конечно, к своим, не к моим — печально неизбежным эманациям тела, выделениям от носа до кормы, перхоти, гною, поту и прочим обычным утечкам, и даже к тому, что Хартвордский бард[10] назвал изящно продуктами низа. Но когда тело Анны ее подвело и она начала пугаться его, его вражеской сути, у меня — тут загадочная связь — развилось мучительное отвращение к собственной плоти. Нет, я не то чтобы постоянно чувствую омерзенье к себе, во всяком случае не всегда его сознаю, но, наверно, оно неотлучно при мне, выжидает, пока останусь один, ночью, ранним утром особенно, — и уж тут на меня накатит, как миазмы болотного газа. И еще меня стали теперь чересчур занимать некоторые процессы в моем теле, неизменные процессы, настырность, например, с какой растут себе мои ногти и волосы, невзирая на мое состояние, на все мои муки. Такая небрежность, такое

[10] Сноски: 10

Так называемые «Хартвордские остроумцы» — писатели, главным образом выпускники Иельского университета, знаменитые в конце XVIII века.

на все наплевательство в этом безжалостном порожденье материи, которая уже умерла, — вот как живность занимается себе своими делами, знать не зная о том, что хозяин, вытянувшийся наверху на ледяной постели с отвислой челюстью и стеклянным взглядом, никогда уж больше не спустится — не задаст корму, не откроет последнюю банку сардин.

Да, кстати, о пишущих машинках — я ведь ее только что упоминал, пишущую машинку, — вчера ночью она мне приснилась, вернулась ко мне, я хотел отстукать завещание на этой машинке, а она не брала слова Я. Буквы Я то есть, ни прописной, ни строчной.

Здесь, у самого моря, по ночам тишина особого свойства. Не знаю, может, это из-за меня, то есть, может, я сам привношу это свойство в тишину своей комнаты, вообще всего дома, или это местный эффект такой, зависящий от просоленности воздуха, что ли, вообще от морского климата. В детстве, когда жил на Полях, я ничего подобного не замечал. Она плотная и пустая одновременно, эта тишина. Долго, ночь за ночью, я докапывался, что же она мне напоминает. Это — как тишина комнаты, где болеешь в детстве, лежишь в жару, под сырой, горячей горой одеял, и, как воздух в

батисфере, пустота давит на барабанные перепонки. Болезнь тогда — особое место, отдельное место, куда больше никому нет доступа, ни доктору с бросающим в дрожь стетоскопом, ни даже матери, прикладывающей прохладную руку к твоему раскаленному лбу. Вот и сейчас я, по-моему, в таком же примерно месте — далеко-далеко ото всего, ото всех. Но, кстати, в доме есть и другие люди, мисс Вавасур, полковник, спокойно храпят себе, а может, вовсе они не храпят, лежат без сна, глядят в свинцово-сизую тьму. А может, думают друг о друге, уж у полковника-то определенно виды на хозяйку, уверен. Она, правда, за спиной посмеивается над ним, не без нежности, называет Полковник Без Полка или Наш Храбрый Вояка. Бывает, утром у нее красные глаза, как будто плакала ночью. Может, корит себя за то, что случилось, до сих пор горюет? Каким утлым сосудом печали, судном печали мы плывем по глухой тишине сквозь осенний мрак.

Ночью — вот когда я особенно думал про Грейсов, лежа на узкой железной койке на даче, под открытым окном, слыша монотонное, ровное буханье моря, сирый бессонный крик чайки, редкий свист дергача вдалеке, а то свингующий всхлип джаз-банда на последнем медленном

вальсе в гостинице «Гольф», и ссоры отца с матерью рядом, за стенкой, — они вечно ругались, думая, что я сплю, тихо шипели друг на друга, каждую ночь, каждую ночь, пока в последнюю ночь отец не ушел от нас и больше не вернулся. Но это было зимой, уже потом, уже совсем в другом месте. Чтобы не вслушиваться в их слова, я сочинял драмы, в которых спасал миссис Грейс от великой, губительной катастрофы, от кораблекрушения, от опустошительной бури и в видах безопасности ее прятал в пещере, кстати сухой и теплой, и там в лунном свете — вот лайнер прошел, шторм утих — я нежно помогал ей сдернуть липкий купальник и махровой простыней укрывал светящуюся наготу, и мы ложились рядом, и она склоняла голову мне на плечо и благодарно дотрагивалась до моего лица и вздыхала, и мы засыпали вместе, она и я, убаюканные нежной, просторной ночью.

В то время меня сильно занимали боги. Я не про Бога с большой буквы, я про богов вообще. Точней, про самую идею богов, про возможность их существования, что ли. Я был заядлый книгочей и довольно сносно знал греческие мифы, хоть и трудновато было уследить за персонажами ввиду частоты перевоплощений и множественности

перипетий. Я их поневоле себе представлял вполне стилизованно — полуголые гиганты, литые мускулы сплошь, грудь колесом, — исходя из работ великих мастеров итальянского Возрождения, Микеланджело в частности, — я, разумеется, репродукции видел в журналах и книгах, я же вечно охотился на образчики голого тела. И, конечно, эротические подвиги небесных созданий особенно чаровали мое воображение. От одной мысли об этой тугой, туго трепещущей плоти, ничем не прикрытой, кроме мраморных складок плаща или небрежной газовой дымки — небрежной, но досадно блюдущей скромность, как махровое полотенце Роз или, да, как купальник Конни Грейс, — моя неопытная, но уже перегретая фантазия ударялась в любовный бред о шалостях, об изменах, побегах, ловитвах и трудных победах. В деталях тех схваток в золотой пыли Греции я не вполне разбирался. Воображал, как содрогаются смуглые стегна над бледными чреслами, как те уклоняются, даже сдаваясь, слышал стоны восторга и нежной муки. Механика самого акта решительно не давалась моему пониманию. Однажды, бродя по колтунным тропинкам Отвала — как называлась узкая лесистая полоса между берегом и полями, — я чуть не

споткнулся о парочку, сцепившуюся под плащом в неглубокой песчаной ложбинке. От их усилий плащ сполз, прикрывал головы, а не низ, а может, они так нарочно устроились, предпочтя прятать лица, как ни крути куда более опознаваемые, чем зады, и от этого вида — бока мужчины ритмично напруживались между приподнятыми, широко раскинутыми ногами женщины — что-то набухло, заскочило у меня в горле, и в какой-то панике от омерзения кровь прилила к сердцу. *Так вот,* я подумал, или это кто-то подумал за меня, *так вот чем они занимаются.*

Любовь у взрослых. Было дико представить: бьются на своих олимпийских ложах во тьме, и только звезды одни видят, что они вытворяют, как пыхтят, задыхаются, выдыхают ласки, вопят от удовольствия, будто от боли. Но днем-то как же им удается перед собой оправдать эти темные делишки? Вот что меня больше всего поражало. Неужели не стыдно? Скажем, воскресенье — являются в церковь, не стряхнув трепета субботней ночи. Священник с ними здоровается на паперти, — честно улыбаются, лопочут невинное что-то. Женщина окунает пальцы в купель, к святой воде примешивает липкую любовную жижу. Бедра под обеднишним платьем прочесывает

ночной восторг. Преклоняют колена, и плевать они хотели на удрученный взор мраморного Спасителя, устремленный на них с креста. После воскресного обеда, с них станется, ушлют детей поиграть, укроются в занавешенном святилище спальни и все проделают сызнова, не ведая, что мой покрасневший глаз не мигая смотрит на них. Да, такой я был мальчик. Точней сказать, во мне до сих пор сидит такой мальчик. Зверушка с грязными помыслами. А-а, будто кто-то устроен иначе. Мы так и не взрослеем. Я, во всяком случае, не повзрослел.

Днем я маялся на Станционной, в надежде, что вдруг мелькнет миссис Грейс. Возле зеленой калитки укрощал свой разбег до шага сомнамбулы, мечтал, что вот она выйдет из двери, — вышел ведь муж, когда я впервые его увидел, — но она упрямо оставалась внутри. В тоске я заглядывал за дом, в сад, где висело на веревке белье, но видел только все детское, шорты, носки, кое-какое неинтересно мелкое исподнее Хлои и, конечно, вислые, сероватые кальсоны папаши, а раз даже его шляпу-ведерко, зашпиленную под залихватским углом. Миссис Грейс представлял только черный купальник, висел на бретельке, вялый, постыдно пустой, сухой, и напоминал уже не

тюленя, а шкуру пантеры. Я и в окна заглядывал, особенно в верхние, в спальни, и однажды был вознагражден — как бухнуло сердце! — промельком в затененном окне того, что принял за голое бедро — чье же, как не ее? Затем обожаемая плоть шелохнулась и обернулась волосатым предплечьем мужа — насколько я понял, сидящего на толчке и тянувшегося к рулону бумаги.

Однако настал день, дверь открылась, но это всего-навсего Роз — вышла, смерила меня таким взглядом, что я потупился, и заспешила куда-то. Да, Роз сразу меня раскусила. И сейчас видит насквозь, конечно.

Я решил — надо войти в дом, походить там, где ходит миссис Грейс, посидеть там, где она сидит, потрогать то, к чему она прикасается. С этой целью я наметил знакомство с Хлоей и ее братом. Дело было несложное — все это было просто в детстве, даже для такого зажатого ребенка, как я. Нам тогда не требовалось подходцев, разговоров издалека, не надо было ждать, пока тебя представят, просто подкатывайся, а там уж гляди. Наконец удалось высмотреть этих двоих на гравии перед Береговым Кафе, заприметить прежде, чем они меня заприметили, и я перешел наискось через дорогу туда, где они стояли, и

встал. Майлз в глубокой сосредоточенности ел мороженое, ровно вылизывал со всех сторон, как кошка вылизывает котенка, а Хлоя, видно, прикончила свое и ждала, скучая, налегши на дверь кафе, одной ногой в сандальке давя на подъем другой и равнодушно задрав лицо к солнцу. Я молчал, они тоже. Так мы и стояли трое в блеске утра, среди запахов водорослей и ванили, и того, что в Береговом Кафе сходило за кофе, и наконец Хлоя соблаговолила опустить голову, устремила взгляд на мои коленки и спросила, как моя фамилия. Я сказал, и она ее повторила, будто на зуб попробовала, как подозрительную монету:

— Морден? Что за фамилия за такая?

Мы побрели по Станционной, мы с Хлоей впереди, Майлз скакал за нами следом. Они городские, Хлоя сказала. Можно подумать, я сам не догадался. Спросила, где я живу. Я неопределенно повел плечом.

— Там… Как мимо церкви пройдешь.

— Дом снимаете или в гостинице?

Какая скорая. Я уже изготовился врать — «Да, в гостинице „Гольф“» — но смекнул, куда эта ложь может меня завести.

— На даче, — бормотнул я.

Она кивнула мечтательно.

— Я всегда хотела пожить на даче.

Это слабо меня утешило. Наоборот, на секунду, но с жуткой отчетливостью я себе представил скособоченный деревянный сортир посреди люпинов под самым моим окном и даже вдруг уловил как будто сухой древесный запашок газетных обрывков, насаженных на ржавый гвоздь изнутри, как войдешь.

Добрели до «Кедров», остановились у калитки. Машина стояла на гравии. Только что вернулась откуда-то, и, остывая, нервно цокал мотор. Из дома, из включенного радио летели липко-тающие, как тянучка, струнные звуки оркестра; я представил: миссис Грейс танцует с мужем — скользят в вальсе, у нее запрокинута голова, голое горло, он переступает на шерстистых, как у фавна, ногах, жадно скалится ей в лицо — он ниже ее дюйма на два, — выказывая сплошные, мелкие, острые зубы, весело-похотливо горит льдисто-синий взгляд. Хлоя чертила узоры на гравии носком сандальки. На икрах светились белые волоски, голени были гладкие, блестели, как камень. Ни с того ни с сего Майлз подпрыгнул, подскочил, от радости, что ли, но уж чересчур механически, будто вдруг проснулась заводная игрушка, весело мазнул меня по затылку ладонью, повернулся,

с немым хохотом перемахнул через калитку, плюхнулся на гравий по ту сторону и опять повернулся к нам, согнув ноги, мотая руками, как акробат, ждущий законных аплодисментов. Хлоя скроила гримасу, скривила рот.

— Не обращай внимания, — сказала она скучно, с досадой. — Он говорить не умеет.

Они были близнецы. Я в жизни еще никогда не видывал близнецов, стало дико интересно и отчасти противно. В их положении чудилось что-то почти непристойное. Конечно, брат и сестра не могут быть уж совсем одинаковыми — от одной мысли о совсем одинаковых близнецах у меня прошелся холодок по хребту, — но все равно, тут же ужас до чего глубокая связь. Каково это? Как одна душа на двоих? Даже подумать тошно. Как будто чувствовать изнутри чужое тело, чужие органы, чужие запахи, чужие позывы. Как это? Как? Мне дико хотелось знать. Моросящим воскресным вечером в тесном киношном мраке — тут я забегаю вперед — мы смотрели фильм про двоих каторжан, они бежали, в наручниках, скованные вместе, и Хлоя заерзала, издала какой-то глухой звук, не то вздохнула, не то хихикнула. И шепнула: «Смотри-ка, мы с Майлзом». Я растерялся, почувствовал, что краснею, был рад, что темно.

Она как будто призналась в чем-то постыдном, тайном. Но именно потому, что считал почти неприличной такую их близость, меня подмывало спросить, разузнать, ужасно хотелось — и было противно. Наконец — тут я еще дальше забегаю вперед — я набрался храбрости, взял и попросил Хлою сказать, да, мне потому что важно — как это — быть в такой тесной близости с братом — двойником! — и она задумалась, потом подняла руки, сдвинула ладони, тесно сдвинула, но не сомкнула. «Как два магнита, — сказала она, — но как-то так они повернуты неправильно, ни туда ни сюда». И мрачно умолкла, как будто на сей раз сама спохватилась, что выдала постыдную тайну, и она от меня отвернулась, и вдруг мне сделалось страшно, дурно, как тогда, когда слишком долго удерживал выдох на глубине. Да, с ней всегда было страшновато, с Хлоей.

Связь между ними была прямо физически ощутима. Я себе представлял растянутую на луче паутину или поблескивающую нить, какую по себе оставляет улитка, перебравшись с листа на лист, а может, наоборот, она стальная была, эта связь, и яркая, тугая, как арфовая струна, как гаротта. Они были спаяны, скованы вместе. Все общее: чувства, страхи, боль. И мысли. Наверно,

проснувшись ночью, прислушиваясь к дыханью друг друга, знали, что одно и то же видят во сне. Снов друг другу не рассказывали. Зачем? Они и так знали.

Майлз был немой от рождения. Верней, просто не говорил никогда. Доктора не находили причин для его упорного молчанья, признавались в том, что озадачены, что не верят, иногда и в том и в другом. Сначала считалось, что у него замедленное развитие, придет время, заговорит, как все, но шли годы, а он так и не произносил ни слова. Может, он умеет говорить, но не хочет? Никто не знал. Немой или просто молчит? Просто молчит или немой? Вдруг у него есть голос, только он его никогда не пробует? Или пускает в ход, когда не знают, не слышат? Я себе представлял, как ночью, в постели, он шепчется сам с собою под одеялом и улыбается своей проказливой, жадной улыбкой. Или он говорит с Хлоей. И как же они хохочут, сдвинув лбы, обнявшись, над своей общей тайной.

— Заговорит, когда надо ему будет, — ворчал отец с заученным злым весельем.

Мистер Грейс явно не любил сына. Избегал его как мог, всячески старался с ним не оставаться вдвоем. Ничего удивительного: очутиться с Май-

лзом один на один — было как войти в комнату, откуда только что кто-то выскочил, хлопнув дверью. Она мешала, она угнетала, его немота. Молчит, но никогда не ведет себя тихо. Вечно что-нибудь схватит, отшвырнет, уронит с грохотом. И горлом издаст сухой, мелкий клекот. И слышно, как он дышит.

Мать к нему относилась с какой-то ленивой рассеянностью. Отвлеченно скользя по волнистому течению дня — она не то чтоб всерьез пила, но всегда была будто чуточку под хмельком, — она вдруг заметит его, не совсем узнавая, насупится и улыбнется — беспомощно и печально.

Ни один из родителей не выучил языка жестов, для общения с Майлзом избрали упрощенную ретивую пантомиму, всегда казалось, что они не пытаются что-то донести до его сознанья, но нервно на него машут руками, хотят спровадить. Правда, он прекрасно понимал, что они хотели сказать, иной раз даже чересчур быстро схватывал, и они только больше от этого раздражались. В сущности, оба, уверен, его побаивались. Тоже неудивительно. Это, наверно, как жить с чересчур даже видимым, весьма осязаемым полтергейстом.

Лично мне, хоть стыжусь признаться, точней,

должен бы стыдиться, Майлз скорей приводил на память моего пса — был у меня когда-то такой пес, неукротимо бодрый фокстерьер, которого я страшно любил, но иногда, когда рядом не было никого, нещадно лупил его, бедного Понго, ради жаркого, распирающего удовольствия, которое он мне доставлял, визжа от боли и униженно извиваясь. Какие прутики-пальцы были у Майлза, какие ломкие, девичьи запястья! Он меня изводил — дергает за рукав или идет, например, по пятам и то и дело снизу скалится на меня из-под моего локтя, пока, наконец, я на него не кинусь, не повалю, что не составляло труда, потому что я уже тогда был дюжий детина и притом на голову его выше. Но дальше возникал вопрос, что с ним делать, поскольку, если не предпринять мер, он мигом брался за свое, и, перекувырнувшись, как заводная кукла, снова вскакивал на ноги. Сидя у него на груди, я пахом чувствовал, как мечется его сердце, как напрягаются ребра, как трепещет кожа, сбегая в подгрудинную впалость, а он подо мной смеялся задышливо, высовывал мокрый, бесполезный язык. Но, может, я тоже его слегка побаивался в глубине души или где там обретается страх?

В согласии с тайными протоколами детства —

так мы были дети? — хочется другого какого-то слова — они не пригласили меня в дом в тот первый раз, когда я за ними увязался от Берегового Кафе. В общем, даже не помню точно, при каких обстоятельствах мне в конце концов удалось проникнуть в «Кедры». Только вижу: после той первой встречи разочарованно отворачиваюсь от зеленой калитки, и близнецы смотрят, как я ухожу, а потом, сразу, совсем в другой день, стою в святилище, будто, как Майлз тогда через калитку, я волшебным образом перемахнул через все препятствия, приземлился в гостиной, и вот — косо, латунным клином падает плотный с виду солнечный луч, и миссис Грейс в просторном платье, голубеньком в синих цветах, оборачивается от стола и улыбается с прилежной неопределенностью, очевидно не понимая, кто я, но чувствуя, что должна бы понять, из чего явствует, что мы с ней, конечно, не в первый раз оказались нос к носу. Но где же Хлоя? Где Майлз? Почему я остался один на один с их матерью? Она спросила, не хочется ли мне чего-нибудь. Стаканчик лимонада? «Или, — в легком смятении, — может быть, яблоко?» Я затряс головой. Она была здесь, рядом, и уже потому душа у меня зашлась от радости и какой-то непонятной печали. Кто скажет,

какие муки терзают сердце одиннадцатилетнего мальчика? Она склонила голову к плечу, ее озадачивало, но и смешило, я заметил, мое бессловесное, настойчивое присутствие. Наверно, я напоминал мотылька, дрожащего перед свечным пламенем, или саму свечу, дрожащую, тающую от собственного жара.

И что она делала у стола? Охорашивала в вазе цветы? Или тут подвираю? Но пеструю тропу моей памяти заволакивает каким-то мерцаньем в том месте, где реют ее руки. Лучше, пожалуй, помешкаю с нею рядом, пока не появится Роз, пока Майлз и Хлоя не вернутся откуда-то, уж не знаю, где они были, пока похотливый супруг с грохотом не ворвется на сцену; скоро, скоро ее снесет из дрожащего центра моих мечтаний. Но как ярко горит этот луч. Откуда же он исходит? Он светит почти по-церковному, будто, непостижимым образом, из окна-розы косо падает на нас с высоты. Не в одном этом дымном луче, в кротком сумраке летних вечерних комнат моя память нащупывает детали, предметы, свидетелей прошлого. Миссис Грейс, Констанс, Конни, все еще улыбается мне, смотрит рассредоточенным взглядом, каким, я теперь уж думаю, она смотрела на все, как бы не вполне полагаясь на прочность мира, чуть

ли не ожидая, что вот-вот он диковинно, весело обернется чем-то совсем другим.

Я тогда бы сказал, что она красивая, будь у меня кто-нибудь, кому я вдруг бы вздумал довериться, но теперь понимаю, что на самом деле ничего особенного. Скорей приземистая, пухлые красные руки, шишечка на носу, жидкие пряди, которые она все заправляла за уши, а они выбивались, были темней, чем остальные, светлые волосы, отдавали лоснистым мореным дубом. Ходила ленивой раскачкой, под летним шелком прыгали ляжки. Пахло от нее потом, кольдкремом и, еле распознаваемо, кухней. Женщина как женщина, иными словами, ну, обыкновенная мамаша. Но для меня она была, при всей своей ординарности, такой же недосягаемой, такой же недосягаемо вожделенной, как тканая бледная леди с единорогом и книжкой. Но нет, зачем на себя наговаривать, какой бы я ни был ребенок и потенциальный романтик. Даже мне она совсем не казалась бледной, совсем не казалась тканой. Вполне себе реальная, толстомясая, чуть ли не съедобная. То-то и оно: она была одновременно и венцом моих желаний, и самой обыкновенной женщиной из плоти и крови. Кончились мои вполне пристойные грезы со спасением и нежной

возней, и теперь меня осаждали яркие необузданные фантазии, впрочем лишенные главной детали, я лежал на земле под ее жарким телом, размаянный, раскачиваемый, оседланный ею, зажав себе грудь руками, лицо в огне, сразу ей и дитя и любовник.

Иной раз вдруг, непрошено вставал передо мной ее образ, и вожделенье жалило, пронзало всего, до корней. Однажды, зеленоватыми сумерками после дождя, когда мокрый луч еще медлил в окне и немыслимый в эту пору дрозд посвистывал в моросящих люпинах, я лежал ничком на постели в таких мученьях неутоленной страсти — она реяла ореолом вокруг своего предмета, ловила его в фокус, не умела поймать, — что я не выдержал и разрыдался, громко, горько, взахлеб. Мать услышала, вошла ко мне, не сказала ни слова, что нехарактерно — я скорей ожидал настырных расспросов, даже затрещин, — только подобрала подушку, сброшенную на пол метаниями моей тоски, чуть помешкала и снова вышла, бесшумно прикрыв за собою дверь. Как она себе объяснила причину моих рыданий? Вот что меня занимало тогда и теперь занимает. Распознала мой острый любовный голод? Этому я не мог поверить. Где уж ей, всего-навсего моей маме, было

понять шторм, мотавший меня, неукротимый огонь, опалявший мне крылья? Ах, мама, мама, как же плохо я тебя понимал, считая, что ничего ты не понимаешь.

Итак — я стою, в райский миг, в самом центре мира, и падает этот луч, и рядом эти увертливые цветы — душистый горошек? — вдруг вижу: ну да, конечно душистый горошек, — и светловолосая миссис Грейс меня потчует яблоком, которого, однако, незаметно на горизонте, но сейчас, сейчас, под скрежет винтов головокружительно, до дурноты, все вдруг взмоет, накренится. Произойдет сразу много разных вещей. В открытую дверь кубарем вкатится лохматый песик — действие почему-то переместилось из гостиной на кухню, — отчаянно стуча коготками по сосновому полу. В пасти у него теннисный мячик. Тут же вдогонку вбежит Майлз, и Роз в свою очередь вдогонку за Майлзом. Майлз споткнется — или он это нарочно — о завернувшийся ковер, рванется, упадет, снова вскочит, перекувырнется, чуть с ног не сшибет свою мать, и та крикнет — испуг мешая с усталой досадой — «Ради Бога, Майлз!» — а пес тем временем, взмахнув вислым ухом, сменит курс, метнется под стол, не выпуская мячика из усмешливой пасти. Роз сделает вы-

пад, пес ловко увернется. Но вот в другую дверь, воплощением самого седого Времени, войдет Карло Грейс, в шортах, сандалиях, с мохнатой простыней на плечах, выставив волосатое пузо. При виде Майлза с собакой он притворно рычит, грозно топает ногой, и собака роняет мячик и исчезает вместе с Майлзом так же вдруг, как они появились. Роз хохочет — такое тонкое конское ржанье, — но, глянув на миссис Грейс, закусывает губу. Хлопает дверь, ускоренным эхом отзывается дверь наверху, в клозете, и за мгновенье до того наполнившийся бачок урчит, захлебывается, клокочет. Оброненный мячик медленно, блестя от слюны, выкатывается на середину комнаты. Мистер Грейс, завидя меня, незнакомого, — забыл, конечно, как сам мне мигал, — запрокинул голову, собрав лицо в складки, и вопросительно, с напускным вниманием, меня оглядывает. Я слышу, как шлепают сандальи, по лестнице спускается Хлоя. Вот — спустилась, а миссис Грейс тем временем уже представила меня мужу — по-моему, это впервые меня кому-то официально представили, правда, пришлось самому назвать свою фамилию, миссис Грейс забыла — и он притворно-торжественно тряс мне руку, именовал «дражайший», а затем, ловко перейдя на кокни,

заверил, что «завсегда рады будем, значится, друзьям, стал быть, наших детев». Хлоя выкатила глаза, задыхаясь от возмущения. «Ну хватит тебе, па», — прошипела сквозь стиснутые зубы, и он сделал вид, что перед нею трепещет, выпустил мою руку, шалью накинул полотенце на голову, тяжело удерживаясь на цыпочках, вышел из комнаты и на прощанье пискнул летучей мышью, изображая испуг, миссис Грейс зажигала сигарету. Хлоя, даже не взглянув в мою сторону, через всю комнату прошла к двери, за которой скрылся отец. «Подбрось меня! — крикнула ему вслед. — Слышишь?» Хлопнула автомобильная дверца, затрещал мотор, хрустнул под шинами гравий. Хлоя сказала: «О черт!»

Миссис Грейс налегла на стол — тот, с душистым горошком, потому что мы волшебным образом снова оказались в гостиной, — курила сигарету, так, как дамы тогда курили: рука под грудью, ладонью придерживает локоть другой. Вздернула брови, криво мне улыбнулась и поежилась, щипком снимая табачную кляксу с нижней губы. Роз нагнулась, морща нос, двумя пальцами подняла обслюнявленный мячик. За калиткой весело, дважды, гуднул рожок, и мы услышали, как укатывает автомобиль. Зашлась лаем собака,

требуя, чтоб ее допустили к мячу.

Да, кстати, собака. Больше я ее никогда не видел. Чья она была?

Сегодня чувствую странную легкость, даже, как бы сказать, летучесть. Снова поднялся ветер, вздул прямо целую бурю, вот почему, наверно, кружится голова. Я всегда был восприимчив к погоде, ко всяким ее проявлениям. В детстве любил примоститься зимним вечером у приемника, слушать метеопрогноз для судов, себе представлять, как отважные мореходы борются с бурей — у Туманного, Недоступного, или как там он назывался, тот дальний брег. Часто уже и взрослым такое испытывал, с Анной, в нашем милом старом доме между горами и морем, когда осенняя буря выла в трубе и валы катили к берегу белый кипень. До того как пропасть разверзлась у наших ног в приемной у доктора Тодда — которая, вот пришло на ум, сильно смахивала на мерзко-усовершенствованную парикмахерскую, — я часто с удивлением рассуждал о том, как щедра ко мне жизнь. Спросить того мальчика, мечтавшего возле приемника, кем он хочет быть, когда вырастет, — так то, что собой являю, совпадает более или менее с тем, что бы он описал, пусть сбивчиво и нескладно, — совершенно

уверен. И это ж, по-моему, замечательно, даже со скидкой на нынешние мои печали. Мало ли народу ропщет на собственный жребий, уныло томясь в цепях?

Вот интересно, а другие в детстве тоже, пусть туманно, но с известной определенностью себя представляют в будущем? Я не о надеждах, упованиях, чаяниях и прочее. С самого начала у меня ясно очертились планы. Карьера знаменитого путешественника или машиниста меня категорически не прельщала. Жадно вглядываясь сквозь туман из очень даже реального *тогда* в блаженно неведомое *теперь*, я, как уже сказано, довольно точно угадывал будущего себя — обладателя праздных интересов, вялых амбиций, в такой вот приблизительно комнате, на капитанском стульчике, у такого вот столика, в такую пору, когда кончается год, и блаженна погода, и летают листья, и дни выцветают, медленно, неуклонно, и что ни вечер чуть пораньше зажигаются фонари. Да, так я представлял себе свою взрослость, как такое долгое бабье лето, покой, тихое нелюбопытство, и ничего не осталось от почти непереносимой резкости детства, и решены все задачи, устаканились тайны, есть ответы на все вопросы, и минуты текут, одна за другой,

почти незаметно, золотая капля за каплей, до самого последнего, неотвратимого, почти незамечаемого конца.

Конечно, кое-что тот мальчишка просто бы с ходу отверг, не позволил себе предвидеть даже, предположим, угадывая в слишком смелой фантазии. Потери, горе, черные дни и бессонные ночи, такие сюрпризы не очень-то отражаются на фотографической пленке пророческого воображенья.

И опять же, если как следует вдуматься, картина будущего, которую я рисовал мальчишкой, дико была старомодна. Мой нынешний мир, осуществись он по тем лекалам, при всей тогдашней моей прозорливости, получился бы чуть-чуть другой, да, чуть-чуть, но все же; все разгуливали бы в фетровых шляпах, габардиновых пальто, разъезжали бы на тучных тупорылых автомобилях с крылатыми фигурами, подрагивающими над решетом радиатора. И где я успел понабраться всех этих штук, столь подробно уснастить ими будущее? Наверно, не умея его точно себе представить, но не сомневаясь, что буду в нем процветать, я его обставил атрибутами успеха, какими щеголяли большие люди нашего города, доктора, адвокаты, провинциальные фабрикан-

ты, на которых скромно работал отец, да хлипкие наследники протестантских богатств, доживавшие век в своих Больших Домах при заросших дорогах окраин.

Нет, не то, опять не то. Так тоже не вполне объяснишь жеманно-усталую, устарелую атмосферу моих мечтаний. Точный образ собственной взрослости — сижу себе, тройка в елочку, шляпа набекрень, ноги под пледом, в «хамбер-хоке», а правит шофер — был навеян, да, наконец-то понял, утлой элегантностью, томным шиком, который я связывал, во всяком случае связываю теперь, с тем временем еще до моего детства, с недавней древностью, какой был — да, вот оно, вот! — мир до Второй мировой. То, что казалось мне будущим, было в действительности — ах, при чем тут действительность, — фантазийной картиной прошлого. Я, можно сказать, не столько предвкушал будущее, сколько по нему тосковал, ибо то, что мне виделось впереди, давно миновалось. Да-да, вдруг сообразил, что-то в этом есть, что-то есть. А может, я вовсе не в будущее смотрел — мимо него, сквозь него?

Честно говоря, это все уже стало сплываться, прошлое, возможное будущее, невозможное настоящее. В страстные недели диких дней и

ночных кошмаров, перед тем как Анне пришлось-таки признать неотвратимость доктора Тодда, его тычков и настоек, я сошел как будто в сумрачный ад, где не отличить сна от яви, где и сон и явь состоят из одной бледноватой, порхающей тьмы, где меня мотало в лихорадочной летаргии, будто не Анне, а мне предстояло вот-вот присоединиться к столь густым уже толпам теней. То был мрачный вариант фантомной беременности, которую я пережил, когда Анна только обнаружила, что у нас будет Клэр; теперь я с ней за компанию страдал от фантомной болезни. Со всех сторон маячили предвестия смерти. Меня терзали совпаденья; давно забытое вдруг вспоминалось; отыскивались безнадежно пропавшие вещи. Моя жизнь проходила передо мной, не мгновенно, как, говорят, проносится перед утопающим, но в медленных судорогах, сбрасывая балласт повседневных тайн в подготовке к моменту, когда придется ступить на черный паром у туманной реки, сжимая холодный обол в уже охладевшей ладони. Как ни странно, место этого воображаемого предотплытия было мне не то чтобы совсем незнакомо. Раньше иногда, в минуты забытья, скажем, за работой, скажем, за столом, когда тону, захлебываюсь в словах, пусть бедных словах,

потому что ведь, бывает, и посредственность осенит вдохновенье, я чувствовал, что прорываюсь сквозь мембрану сознательного в иную среду, которой названия нет, в которой не действуют простые законы и время течет иначе, если течет вообще, и я не живой и не то, другое, но однако же как никогда живо присутствую в том, что, хочешь не хочешь, мы называем реальностью. Кстати, давным-давно, когда стоял, например, в пронизанной солнцем гостиной перед миссис Грейс, когда сидел с Хлоей во тьме киношки, я присутствовал и отсутствовал одновременно, был самим собою и призраком, и намертво влипнув в миг, как-то парил в то же время на грани отрыва. Может, вся жизнь всего-навсего долгая подготовка к тому, чтобы с ней распрощаться.

Для Анны, в ее болезни, хуже всего были ночи. Этого следовало ожидать. Много было такого, чего следовало ожидать, теперь, когда настало неожиданное, бесповоротное. Ночью то, что днем было ошеломляющей несуразицей — *со мной не могло такое случиться!* — сменялось неподвижным, тупым изумлением. Она лежала рядом без сна, и я почти физически чувствовал, как страх крутится у нее внутри, как динамо. Или вдруг громко расхохочется во тьме, заново изумив-

шись положению, в которое так безжалостно, так безобразно поставлена. Но чаще лежала тихо, затаясь, свернувшись калачиком, как заблудившийся полярный исследователь в палатке — уже засыпает, уже замерзает, и уже ему безразлично, погибнет он или его спасут. Раньше все, что с ней случалось, было временно, одолимо. Горести исцелялись, пусть просто временем, радости затвердевали привычкой, тело само справлялось с недомоганиями. А тут — абсолютный, единственный, неотвратимый конец, а такого она не могла вместить, осилить. Были бы хоть боли, она говорила, все же показатель какой-то, понятно, — накрыло и никуда не денешься. Но болей не было, пока не было; только, она объясняла, как-то вечно мотает, мутит, скребет изнутри, будто одураченное, бедное тело отчаянно строит заслоны против захватчика, а тот уж пробрался вовнутрь тайным ходом, черными клешнями похрустывает.

В те бесконечные октябрьские ночи, лежа рядом двумя поверженными памятниками самим себе, мы убегали от нестерпимого настоящего в единственно возможное время — в прошедшее, даже в давно прошедшее. Спасались в наши первые совместные дни, вспоминали наперебой,

плутали по общему прошлому, поддерживали друг друга, как двое старцев бродят под руку по укреплениям города, где жили когда-то, давным-давно.

Особенно вспоминали то лондонское дымное лето, когда встретились и поженились. Я сразу засек Анну в гостях, в чьей-то квартире, в удушливо жаркий вечер — все окна настежь, воздух сизый от выхлопных газов, и гудочки автобусов, как туманные горны, чужды болтовне, тесноте темнеющих комнат. Ее размер — вот на что я сразу клюнул. Не то чтоб она была уж такая громадная, но спроектирована в ином масштабе, чем все мои прежние знакомые женщины. Крупные плечи, крупные руки, ноги, великолепная голова и эта грива темных, густых волос. Она стояла между мной и окном, в легком платье, в босоножках, говорила с другой женщиной так, как ей было свойственно, сосредоточенно и рассеянно сразу, в задумчивости навивая на палец темную прядь, и сначала мой глаз как-то все не мог утвердиться в фокусе, все казалось, что Анна, такая большая, стоит гораздо ближе ко мне, чем та, помельче, ее собеседница.

Ох, эти вечеринки, сколько их было в то время. Как начну вспоминать, всегда вижу: вот мы

явились, секунду мешкаем на пороге, моя рука у нее пониже спины, под пальцами этот разлог, прохладный сквозь пупырчатость шелка, ее дикий запах в моих ноздрях, жар волос у меня на щеке. Роскошно, надо думать, мы выглядели, являясь, — выше всех, глядя поверх голов, будто на что-то прекрасное, дальнее, что только нам одним благоволило открыться.

Она тогда собиралась стать фотографом, щелкала эти свои утра с настроением — сплошь сажа, черненое серебро — в самых мрачных углах города. Хотела работать, что-то делать, кем-то быть. К ней взывал Ист-Энд, Брик-лейн, Спитафилд, милые места. Я никогда это не принимал всерьез. Зря, наверно. Жили они с отцом, снимали квартиру — в коричневом особняке, на Слоун-сквер, правда, но в сонной заводи, на темных задворках. Квартира громадная, ряд просторных высоких комнат, большие подъемные окна гордо отводили остекленелый взгляд от копошащихся внизу человечков. Папочка, старый Чарли Вайсс — «можешь не волноваться, фамилия не еврейская» — сразу ко мне расположился. Я был большой, молодой, нелепый, мое присутствие в этих раззолоченных комнатах его развлекало. Веселенький такой господин, крошечные ручки,

ножки. Меня ошарашил его гардероб: несчетные костюмы с Сэвил-роу, рубашки от Шарве, кремового, бутылочного, лазурного шелка, десятки пар на заказ сшитой миниатюрной обувки. Голова, которую он через день таскал к Трамперу брить — волосы, он объяснял, это шерсть, ни один порядочный человек ее на себе не потерпит, — была гладкая, как яйцо, и он ходил в этих мощных очках, модных среди тогдашних крутых — резные дужки, линзы с блюдце, — острые глазки метались за ними экзотическими хитрыми рыбками. Он ни минуты не мог оставаться в покое, вскочит, сядет, опять вскочит, и под своими высокими потолками был как гладкий орешек, бренчащий в слишком крупной для него скорлупе. Когда я пришел в первый раз, он гордо таскал меня по квартире, демонстрировал картины, сплошь старых мастеров — так он воображал, — гигантский телевизор, оправленный каштановым деревом, бутылку «Дом Периньона» и корзину безупречных несъедобных фруктов, присланную накануне коллегой — у Чарли не было друзей, партнеров, клиентов, сплошные коллеги. Свет лета густым медом натекал в окно на узоры ковра. Анна сидела на диване, уперев подбородок в ладонь, поджав под себя одну но-

гу, безучастно глядя, как я топчусь вокруг ее несуразно мелкого папаши. В отличие от других коротышек, он ничуть не робел нас, больших, мой размеры его даже, кажется, ободряли, он чуть ли не влюбленно жался ко мне, и посреди всего этого хвастовства сверкающими плодами успеха выпадали минуты, когда казалось: вот подпрыгнет и уютно устроится у меня на ручках. Когда он в третий раз помянул свой бизнес и я спросил, наконец, о каком бизнесе речь, он обратил ко мне взор, полный чистейшей невинности, сияя своими аквариумами.

— Тяжелое машиностроение, — отчеканил он без тени улыбки.

На свою жизнь Чарли смотрел с восторгом, слегка удивляясь тому, что удалось так легко смыться с такой тучной добычей. Он был мошенник, наверно, опасный мошенник, и совершенно, начисто аморален.

Анна нежно, печально его почитала. Как такому крошке удалась такая крупная дочь, остается загадкой. При всей ее молодости казалось, что она терпеливая мать, а он — очаровательный сорванец-карапуз. Свою же мать Анна потеряла в двенадцать лет, и с тех пор отец с дочерью парочкой противостояли миру, как двое авантюристов

позапрошлого века, он, скажем, пароходный шулер, она — девица при нем для отвода глаз. Два-три раза на неделе к ним в квартиру заваливались шумные гости, шампанское лилось пузырчатой, чуть горклой рекой. Как-то к концу лета мы возвращались из парка — я любил с ней гулять в сумерках в пыльных тенях под деревьями, которые уже хрустким, сухим, уже бумажным шелестом предвещали осень, — и, еще не свернув на свою улицу, мы услышали пьяный гвалт из соответствующих окон. Анна положила руку мне на плечо и остановилась. В вечернем воздухе подрагивал темный посул. Она повернулась ко мне, двумя пальцами захватила пуговицу на куртке, туда-сюда крутанула, как наборный диск сейфа, и обычным своим легким, слегка отвлеченным тоном сделала мне предложение.

Всё то ожиданием и жарой одурманенное лето я, кажется, дышал только верхушкой легких, как ныряльщик, который стоит на самой верхней доске и смотрит на малый квадратик синевы где-то под ним, в невозможной дали. И вот зазвенел, раскатился крик Анны: «Прыгай!» В наши дни, когда только низшие слои да то, что осталось от «благородных», считают нужным жениться, у всех же прочих принято заводить партнеров, как

будто жизнь — это танец или деловой проект, даже трудно, наверно, себе представить, какой головокружительный прыжок это был — подписать себе брачный приговор. Я погрузился в диковатый мир Анны и ее родителя, как в иную, фантастическую среду, где правила, как я их себе представлял до тех пор, оказались неприменимы, где все мерцало, все было нереально и даже реальное казалось подделкой, как те безупречные фрукты на блюде в квартире у Чарли. И вот меня приглашали стать насельником этих обворожительно чуждых глубин. То, что Анна мне предложила тогда, на углу Слоун-стрит, был не столько брак, сколько шанс осуществить фантазию о самом себе.

Свадьбу сыграли под полосатой маркизой в неожиданно просторном саду за особняком. Был последний день ударившей в то лето жарищи, он стоял тихий, весь исцарапанный косыми лучами. Бесконечно причаливали длинные блестящие автомобили, выгружались все новые гости, цапленогие дамы в широкополых шляпах, девицы в белой помаде, в лайковых белых сапожках до колен, полупочтенные господа в полосатом и светлом, тонкие юноши, важно курившие травку, и были еще какие-то невнятные типы, коллеги

Чарли, скользкие, сторожкие, безулыбчивые, в костюмах с отливом, в разноцветных воротничках и остроносых сапожках по щиколотку. Чарли подпрыгивал среди них, среди всех, блестя подсиненной лысиной, как потом сочась довольством. Потом, попозже, сладкоокие, истомные, робкие полноватые господа в чалмах и белоснежных джеллабах приземлились среди нас, как голубиная стая. Еще попозже кошмарно надралась толстая вдовица, рухнула, была поспешно унесена каменнолицым шофером. Когда свет уже загустевал под деревьями, и тень соседнего дома дверью люка упала на сад, и последние пьяные пары шаркали по доморощенной танцевальной площадке, склоняя друг к другу головы, опуская, смыкая подрагивающие веки, а мы с Анной стояли и ждали, когда все это кончится, вдруг темным облаком откуда ни возьмись низко-низко над самой маркизой пролетели стрижи и выбили крыльями продолжительные, презрительные аплодисменты.

Ее волосы. Вспомнил вдруг эти волосы, длинные, темные, блестящие, они убегали со лба высокой косой волной. Даже в солидном возрасте в них почти не завелось седины. Как-то — уже мы на машине ехали из больницы — она подняла

прядь с плеча, стала перебирать, разглядывать, хмуриться.

— А есть птица такая — лысь?

— Ну не знаю, — ответил я осторожно. — По-моему, это не птица, а вовсе тюлень. А что?

— Видимо, я буду вся лысая, эдак через месячишко.

— Кто тебе сказал?

— Одна женщина, ей делали процедуры, те же, как мне назначены. Лысая, как колено. Так что ей видней. — Она посмотрела на дома, магазины, проплывавшие мимо, равнодушно, как у них это водится, потом опять повернулась ко мне: — Да, а лысуха — это кто?

— Это птица такая.

— А-а. — Она хмыкнула. — Я стану вылитый Чарли, когда они все повылезут.

И стала.

Он умер, старый Чарли, через несколько месяцев после того, как мы поженились. Все деньги достались Анне. Не такая уйма, как я мог бы рассчитывать, но ничего, очень даже прилично.

Странная вещь, одна из многих странных вещей в моей страсти к миссис Грейс — та, что она улетучилась чуть ли не в ту же минуту, как достигла, можно сказать, апогея. Все случилось

в день пикника. Мы уже всюду ходили втроем — Хлоя, Майлз и я. Как же я гордился тем, что меня видят с ними вместе, с этими божествами, я же, конечно, в них видел богов, так не похожи были они ни на кого из моих прежних знакомых. Бывшие друзья с Полей, где я уже не играл, возмущались моим предательством. «Все время с шикарными этими, новая дружба», — так, я подслушал, мама раз говорила чьей-то обиженной матери. «Что с него возьмешь, — понижая голос, — дурачок, мальчишка». А в глаза мне она выражала недоумение, почему не попрошусь к Грейсам в приемные сыновья. «Я бы что, я бы ничего. Под ногами не будешь путаться». И смотрела на меня спокойным взглядом, немигающим, острым — тем самым, каким часто смотрела после ухода отца, будто хотела сказать: *А потом и ты меня бросишь.* Так и вышло, наверно.

Родители не познакомились с Грейсами, даже не порывались. Те, кто жил в настоящих домах, не якшались с теми, кто жил на дачах, и незачем нам было втираться к ним в дружбу. Джина мы не пили, к нам не приезжали гости на выходные, мы не забывали карту путешествий по Франции на заднем сиденье автомобиля — да у кого в Полях и был-то автомобиль. Социальная

структура нашего летнего мира жестко определилась, снизу доверху не добраться. Несколько семейств в собственных летних домах — это была вершина, потом шли те, кто мог себе позволить гостиницу — Береговая котировалась выше Гольфовой, — потом те, кто снимал дом, а уж дальше — мы. Жившие здесь круглый год в иерархии не учитывались; деревенские, молочник Дуийьян, глухой гольфер, подбиравший на гольфе мячи, две старые девы, протестантки из Плюшевой Сторожки, француженка, убиравшая теннисные корты и, говорили, регулярно совокуплявшаяся со своим догом, — все это было постороннее, лишнее — дымчатый задник для нашего нарядного, солнечного спектакля. То, что мне удалось с самого низа крутой социальной лестницы вскарабкаться до уровня Грейсов, мне самому представлялось, как и тайная моя страсть к Конни Грейс, знаком избранности среди толп незваных. Боги меня удостоили своей милости.

Да, так этот пикник. На шикарном автомобиле мистера Грейса мы пустились далеко по Отвалу, до того места, где кончалась мощеная дорога. Страстная нотка звякнула, едва пупырчатая кожа сиденья липко прильнула к моим голеням ниже шортов. Миссис Грейс сидела впереди рядом с

мужем, покоя локоть на спинке, так что я видел обворожительно заштрихованную подмышку и то и дело, когда ветер, хлынув в окно, задувал в мою сторону, чуял ее сырой, потный, жаркий запах. На ней было нечто такое странное, что теперь называется, если не ошибаюсь, топик: белая шерстяная полоса без бретелек, в обтяжку, подчеркивала все особенности тяжелых грудей. Она была в своих очках кинозвезды, темных, в белой оправе, и курила толстую сигарету. Я, замирая, смотрел, как после глубокой затяжки она косо опускала нижнюю челюсть и тугое кольцо дыма недвижно повисало между сургучно-красных, поблескивающих губ. Ногти тоже были кроваво-красные. Я сидел прямо за ней на заднем сиденье, Хлоя посредине, мы с Майлзом по бокам. Острое, жесткое бедро Хлои беззаботно вдавливалось мне в ногу. Брат с сестрой были заняты каким-то своим бессловесным состязанием, возились, корчились, вцеплялись друг в дружку скрюченными пальцами, силясь столкнуть другого в узкий желобок. Я так и не усвоил правил их этих игр, если правила были, но в результате неизменно возникал победитель, чаще Хлоя. Вспоминаю, все еще с уколом жалости к бедному Майлзу, как стал впервые свидетелем этой игры, скорей

драки. Шел дождь, мы торчали взаперти в «Кедрах». Каких дикарей будит в детях дождливый день! Близнецы устроились на полу гостиной, коленки к коленкам, глаза в глаза, напрягшись, сцепив пальцы, качаясь, как два воина-самурая, и наконец произошло что-то, я не разглядел, но что-то решительное, и Майлзу сразу пришлось сдаться. Вырвав пальцы из ее железной хватки, он обнял себя обеими руками обиженного, оскорбленного — тут он поднаторел — и стал рыдать от обиды и бешенства, тоненько, задушенно подвывая, прихватив нижней верхнюю губу, скосив и прикрыв глаза, пуская мутные, крупные слезы, — все это чересчур театрально и не вполне убедительно. Но как же глянула на меня Хлоя через плечо, победно, коварно, неприятно перекосясь, поблескивая резцом. Теперь, в машине, снова она победила, что-то такое сотворила с запястьем Майлза, и тот взвизгнул. «Ах, ну прекратите вы, оба», — сонно сказала мать, еле на них взглянув. Хлоя, все еще тонко, победно хихикая, еще сильней вжалась бедром мне в ногу, а Майлз гримасничал, складывал губы в кривое О, на сей раз сдерживал слезы, но тщетно, и тер раскрасневшееся запястье.

Дорога кончилась, мистер Грейс остановил

машину, корзина с бутербродами, чашками, бутылками вина была вынута из багажника, и мы пошли по широкой полосе твердого песка, помеченной древней, полуосевшей, ржавой колючей проволокой. Мне здесь не нравилось, совсем не нравилось, я даже побаивался дикой заволоченной, грязной полосы, где все как будто отворачивалось от земли, печально заглядывалось на горизонт в немых поисках избавления. Грязь темно поблескивала, как свежий кровоподтек, и щетинились камыши, и к осклизлым, прогнившим надолбам были привязаны ненужные бакены. Прилив здесь никогда выше чем на дюйм не поднимался, вода набежит на отмель, быстрая, сверкающая, как ртуть, и ни с того ни с сего запнется. Мистер Грейс лихо трусил впереди, обоими локтями зажав по складному стульчику, и комическое ведерко ему съехало на ухо. Мы обогнули мыс и смотрели через пролив на город, взбиравшийся по холму, на игрушечные, лиловатые углы и плоскости, увенчанные шпилем. Мистер Грейс, по-видимому зная дорогу, свернул на луг, сплошь заросший высокими папоротниками. Мы шли за ним — миссис Грейс, Хлоя, Майлз и я. Папоротники были с меня ростом. Мистер Грейс нас дожидался в конце луга, на муравчатом

взгорке под разлапой сосной, я наступил на расщепленный папоротник, и он прорезал борозду на моей голой щиколотке над самой сандальей.

На полосе травы между стеною папоротников и муравчатым взгорком расстелили скатерть. Миссис Грейс, на коленках, с налипшей к углу рта сигаретой, щуря один глаз от дыма, расставляла по скатерти снедь и посуду, супруг же тем временем — шляпа еле держалась на ухе — сражался с артачившейся винной пробкой. Майлз уже исчез в папоротниках. Хлоя, сидя на корточках, жевала сэндвич с яйцом. Роз — где же Роз? Да вот она, тут как тут, в своей алой рубашке, танцевальных туфельках и нарядных черных брюках в обтяжку, с уходящими под ногу штрипочками, и стянутые на узкой голове волосы хвостом распушены на затылке. Но как она сюда попала? В машине ее не было. А-а, ну конечно, я вижу велосипед, он небрежно раскинулся в папоротниках, с завернутыми лапками, под немыслимым углом выпятив руль — хитрым прообразом, что ли, — теперь мне кажется, — того, что случится потом. Мистер Грейс зажал бутылку в коленях, тянет, тянет, и у него краснеют ушные мочки. Роз сидит на углу скатерти сзади меня, опершись на согнутую руку, почти касаясь щекой плеча, сдвинув вбок ноги, —

казалось бы, неуклюжая поза, но нет, ничего. Вдруг пробка выскакивает из бутылки с комическим щелчком, от которого все мы вздрагиваем.

Мы принялись за еду. Майлз изображал дикого зверя, выбегал из зарослей, хватал все руками, опять убегал, с ржаньем и уханьем. Миссис и мистер Грейс выпили всю бутылку, мистер Грейс откупорил вторую, на сей раз почти без усилий. Роз сказала, что у нее нет аппетита, миссис Грейс объявила, что это глупости, мистер Грейс, осклабясь, тянул к ней банан. Под безоблачным пока еще небом летал ветерок. Корявая сосна вздыхала над нами, к духу хвои примешивался запах мятых папоротников, острый, соленый привкус моря. Роз дулась, из-за того, как я понял, что миссис Грейс ей устроила выволочку, а мистер Грейс совал этот дурацкий банан. Хлоя сосредоточенно ковыряла болячку на локте, который вчера раскроила шипом. Я анализировал свою щиколотку — злая красная борозда бежала между рваных краев побелевшей кожи; крови не было, но на дне поблескивала сукровица. Мистер Грейс обмяк на складном стульчике, заложив ногу на ногу, с сигаретой в зубах, и ведерко, съехав на лоб, ему затеняло глаза.

Вдруг что-то мелкое, легкое мазнуло меня по

щеке. Хлоя, оставив в покое свой шрам, запустила в меня хлебным шариком. Я на нее посмотрел, она ответила взглядом без всякого выраженья, метнула еще шарик. На этот раз промахнулась. Я подобрал шарик с травы, бросил в Хлою и тоже промахнулся. Миссис Грейс лениво следила за нами, прямо передо мной лежа на боку, на пологом муравчатом склоне, вдавливая щеку в ладонь. Бокал стоял ножкой в траве, краем упираясь в косо поникшую грудь — я часто думал, не больно ли ей их таскать, эти две тяжелые луковицы млечной плоти, — вот она облизнула палец и провела по краю бокала, чтоб он запел, но не получилось. Хлоя сунула в рот хлебный мякиш, послюнила, вытащила, медленно, стрательно помесила пальцами, запустила в меня, но шарик не долетел. «Хлоя!» — сказала мать, Хлоя пропустила мимо ушей этот бледный упрек, улыбнулась мне кошачьей, тонкой, злорадной ухмылкой. Она была жестокая девочка, моя Хлоя. Ей на потеху, помню, я налавливал горсть кузнечиков, каждому отдирал одну ножку, чтоб отрезать путь к спасению, клал извивающиеся тельца на крышку баночки из-под ваксы, смачивал керосином и поджигал. И до чего ж зачарованно, сидя на корточках, уперев ладошки в колени, она смотрела, как бедные

существа корчатся, кипя в собственном соку.

Она лепила новый шарик. «Хлоя, ты невыносима», — вздохнула миссис Грейс, и вдруг Хлое все надоело, она выплюнула хлеб, стряхнула с себя крошки, встала и уныло поплелась под тень сосны.

Поймала ли Конни Грейс на себе мой взгляд? Мелькнуло ли что-то заговорщическое в ее улыбке? Тяжко вздохнув, она перевалилась и вот лежала навзничь на склоне, запрокинутой головой в траве, согнув одну ногу, так что мой взгляд вдруг был допущен под юбку и по внутренней стороне бедра дополз до самой вмятины паха, до самого взгорочка, схваченного белым тугим хлопком. Вдруг все замедлилось. Опустевший бокал свалился в обмороке, последняя винная капля добежала до края, повисела, блеснула, упала. Я смотрел, смотрел, лоб у меня горел, вспотели ладони. Мистер Грейс из-под шляпы, кажется, мне ухмылялся, мне было плевать, пусть себе ухмыляется на здоровье. Его крупная жена, еще увеличенная этим мигом, — укороченная, безглавая великанша, у ножищ которой я ежился чуть ли не в страхе, — выгнулась, задрала еще выше колено, выказывая гнутые складки толстой ляжки в том месте, где начинается зад. День

погас от грома в моих висках. Больно задергало пораненную лодыжку. И тогда-то издали, из гущи папоротников, вылетел высокий, тоненький звук, свирельной архаической нотой вонзился в глазурованный воздух, и Хлоя там, под сосной, свела брови, как бы встречая приказ, нагнулась, сорвала былинку, зажала между большими пальцами обеих рук и выдула ответную ноту из раковины ладоней.

Через несколько бесконечных минут моя распростертая маха втянула ногу, опять перевалилась на бок и заснула с прямо обескураживающей внезапностью — вот уже она нежно посапывала, как пыхтит маленький, хлипенький мотор, когда силится завестись и никак не может, — а я сел, осторожно, чтоб резким движением не разбить что-то тонкое, драгоценное у себя внутри. И вдруг ощутил кислый вкус пустоты. Волнение как рукой сняло, что-то нудно сдавило грудь, я чувствовал пот у себя на веках, на верхней губе, под пояском шортов — горячий и едкий. Я был ошарашен, я был странно обижен, будто это меня, не ее, оскорбили нескромным взглядом. Я собственными глазами свидетельствовал явление богини, но как же унизительно краток был божественный миг. Под моим жадным взглядом

миссис Грейс из женщины стала виденьем и сразу — опять женщиной. Только что была Конни Грейс, жена своего мужа, мать своих детей, через миг всего — предмет моего беспомощного поклонения, безликий идол, первобытный, древний, порождение моей жажды. И вот снова — что-то в ней осело, обмякло, я почувствовал тошное отвращенье, стыд, не за себя, не за то, что я стибрил у нее своим взглядом, нет, за нее самое, эту женщину, не потому, что она что-то нехорошее сделала, просто потому, что, с хриплым стоном перевалясь на бок, из воплощенья соблазна она снова стала смертной женщиной, просто собой.

Но при всей моей досаде именно смертная женщина, не богиня, все сияет, чуть тусклея от патины, среди ушедших теней. Уж она-то сможет за себя постоять. Что реальней, та женщина, лежавшая на муравчатом склоне моего воспоминанья, или струйка праха, иссохшие кости, которые, еще неизвестно, хранит ли земля? Конечно, для кого-то там, где-то там она тоже осталась, пошевеливается среди восковых фигур в захолустье памяти, но тот, чей-то, образ отличается от моего, он у каждого свой. Да, вот так-то в душах многих дробишься, ветвишься. Но и это не вечно и никакое вам не бессмертие, нет, при чем

тут бессмертие. Мы тащим на себе мертвецов, пока сами не свалимся, а дальше уж нас протащат немножко, пока не свалятся тоже, и так далее, через невообразимые поколения. Я помню Анну, наша дочь Клэр будет помнить Анну и помнить меня, потом не будет и Клэр, но останутся те, кто будут помнить ее, но уже не нас, не нас, и это будет наша последняя, окончательная погибель. Конечно, что-то останется, увядшие фотографии, прядь волос, отпечатки пальцев, брызги атомов в комнате, где мы испустили последний вздох, но это уже не мы, какие мы есть, были, — мертвый прах и больше ничего.

В детстве я был вполне себе верующий. Не сказать чтоб глубоко, зато рьяно. Бог, которого чтил, был Иегова, сокрушитель миров, а не добрый Иисус, мягкий и кроткий. Божество для меня было угрозой, вот я и отвечал страхом и неизбежно ему сопутствующим чувством вины. Насчет чувства вины — тут я был прямо виртуоз в свои юные годы, каковым остаюсь и в преклонных годах, между прочим. Перед первым моим причастием, или, точней, предшествующей ему первой исповедью, к нам в монастырскую школу повадился ежедневно священник, дабы наставлять желторотых грешников в хитросплетениях хри-

стианской доктрины. Бледный, тощий фанатик, всегда с чем-то белым в углах рта. Даже странно, как ясно помню упоенный экзерсис о грехе смотрения, который он развернул перед нами в одно дивное майское утро. Смотрения, да-с. Нам были разъясняемы виды греха: вольные и невольные, страшные и простительные, семь смертных, и еще какие-то такие кошмарные, которые, нам было сказано, может отпустить только сам епископ, и вот объявилась еще новая категория: грех пассивный. Или мы думаем, саркастически вопрошал брат Белопенн, носясь от двери к окну, от окна к двери, так что свистела ряса и на узком лысеющем лбу звездою взблескивал свет, как бы отражением самой божественной благодати, или мы думаем, что грех непременно предполагает совершение известного действия? Смотреть с вожделением, завистью, ненавистью значит уже вожделеть, завидовать, ненавидеть; желание, не сопровожденное действием, столь же пятнает душу. Не сам ли Господь, кричал он, распалясь, не сам ли Господь учит нас, что всякий, посмотревший на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем? Он уже совершенно забыл про нас, про то, что сидим тут, как мышки, таращимся на него, обмирая,

недоумевая. Хотя для меня все это было так же ново, как и для моих соучеников, я все схватывал с лету, не без удовольствия, ибо в свои семь лет был уже стреляный воробей, дока по части подглядывания за тем, что мне видеть не полагалось, знал уже темную радость от щупанья взглядом того, на что не надо смотреть, и еще более темный стыд, который за этой радостью следовал. Так что, как только я досыта, до отвала насмотрелся на серебрящиеся ляжки миссис Грейс до самой развилки трусиков, до жирной складки под задом, я тут же стал озираться в страхе, что кто-то, может, все это время видел, как я смотрю. Майлз, уже выйдя из папоротников, оглядывал Роз, Хлоя все мечтала у себя под сосной, — да, но мистер Грейс, вдруг он за мною все время подглядывал из-под края своей этой шляпы? Он сидел, как будто погруженный в себя, подбородком в грудь, вывалив из открытой рубахи волосатое брюхо, голой щиколоткой на голом колене, так что и его ногу изнутри я тоже смог обозреть вплоть до крупногр шара, вздувавшего шорты цвета хаки, лопающиеся на толстых раскоряченных ляжках. Весь долгий день, пока лиловатая тень сосны, постепенно плотнея, упрямо подкрадывалась к нему по траве, он вставал со своего складного стульчика только затем, чтоб

налить жене вина или чего-нибудь съесть, — так и вижу: жадная пятерня разминает полсэндвича с беконом и образовавшееся месиво поглощается красной дырой в бороде.

Для нас тогда, в нашем возрасте, взрослые все были непредсказуемы, даже слегка безумны, но с Карло Грейсом приходилось особенно держать ухо востро. Он любил внезапные выпады, розыгрыши. Сидит себе, скажем, в кресле, поглощенный своей газетой, и вот, как жалящая змея, выбрасывается его рука, он цапает проходящую Хлою за ухо или захватывает прядь волос, крутит сильно и больно, и все это без единого слова, не прерывая чтения, как будто рука действует сама по себе. Или вдруг, прервавшись на полуслове, замрет, как статуя, выгнув локоть, уставясь бессмысленным взглядом в пустоту за твоим нервно дернувшимся плечом, будто вслушивается в шум тревоги, дальний ропот, доступный исключительно его слуху, а потом — раз, и сделает вид, что сейчас тебя схватит за горло, и смеется с присвистом, не разжимая зубов. Он мог серьезно обсуждать с почтальоном, полным болваном, виды на погоду, возможный исход предстоящего футбольного матча, при этом кивая, хмурясь, вспахивая пальцами бороду, так, будто перед

ним сыплют чистейшие перлы премудрости, а потом, когда одураченный малый удалялся, гордо посвистывая, он на нас смотрел, вздернув брови, собрав губы в пучок, и весь трясся от беззвучного смеха. Хотя, казалось бы, все мое внимание было сосредоточено на других, как теперь понимаю, именно Карло Грейс первым заронил в меня мысль, что я попал в общество богов. Отчужденный, радостно-равнодушный, именно он над нами над всеми властвовал — усмешливое божество, Посейдон нашего лета, по знаку которого покорно устраивался наш маленький мир.

Но он не кончился еще, тот беззаконный день. Миссис Грейс, развалясь на муравчатом склоне, сладко всхрапнула, и сонная одурь спустилась на милый дол, на всех нас, невидимой сетью истомы, какая всегда опутывает компанию, когда кто-то один от нее отстал, провалившись в сон. Майлз лежал ничком в траве радом со мной, но лицом в другую сторону, все еще глядя на Роз, которая все еще сидела на скатерти у меня за спиной, как всегда не замечая его нежного взгляда. Хлоя все еще стояла в тени под сосной, что-то держа в руках, задрав лицо и внимательно разглядывая, может, птицу, а может, просто решетку ветвей на синеющем небе, где уже пробирался с моря

белый, легкий пух облаков. Как туманно она задумалась, но какая была живая, невозможно живая, с этой шишкой в руках — это шишка была? — и как жадно смотрела на ветки, навылет пробитые солнцем. Вдруг она стала осью, на которой вращалось все остальное, и только ради нее, для нее с такой тщательной безыскусностью располагались все эти узоры и тени: белая скатерть на лоснистой траве, склоненная сизая сосна, бахрома папоротников и даже эти мелкие облачка, прикидывавшиеся недвижными в высоком морском небе. Я глянул на спящую миссис Грейс, глянул почти презрительно. Вдруг она стала просто безжизненным архаическим торсом, поверженным идолом уже не почитаемой племенем древней богини, выброшенным на свалку на потеху мальчишкам, мишенью для их рогаток, луков и стрел.

Вдруг, как будто разбуженная холодом моего взгляда, она села и стала мутно озираться, моргать спросонья. Заглянула в бокал, удивилась, кажется, что он пустой. Капля вина оставила на белой материи, на груди красный след, она потерла его пальцем, прищелкнула языком. Потом снова нас оглядела, прокашлялась и объявила, что сейчас мы будем играть в салочки. Все на

нее уставились, даже сам мистер Грейс. «Лично я ни за кем гоняться не собираюсь», — крикнула Хлоя из-под сосны и недоуменно фыркнула, но ей было сказано, что нет, так нужно, что она зануда, и тогда она подошла к отцовскому стульчику, встала, вжала локоть ему в плечо, а он обхватил ее за узенькие бока и сгреб в волосатом объятье. Миссис Грейс взялась за меня: «Но ты-то будешь играть, да? И Роз тоже».

Ту игру помню как череду вспышек, промельков цвета, быстрых секунд, живых картин: вот — Роз несется, по пояс в папоротниках, горит рубашка, закинута голова, реют сзади черные волосы; Майлз, с мазком папоротника на лбу, как воин-дикарь, помеченный краской, извивается, рвется у меня из рук, я слышу, как скрипят его лопатки; снова Роз, мчится, теперь уже по твердой полоске песка, за ней с диким хохотом — миссис Грейс, обе босые менады на миг вбегают в раму ветвей, фоном картинки тускло серебрится залив, и синеет, ровно синеет небо до самого горизонта. Вот — миссис Грейс среди папоротников, вся подалась вперед, согнув колено, как ждущий сигнала бегун, я ее настигаю, но она не бежит, как требуют правила, жестом подманивает меня, велит присесть рядом, притягивает меня к себе, я

чувствую податливость груди, мечущееся сердце, кисловатый, молочный запах. «Тсс», — шепчет она и прикладывает палец к моим губам — не к своим, к моим. Она дрожит, вся колышется от подавляемого хохота. Так близко к взрослой женщине я не был с тех пор, как грудным сидел у матери на руках, но вместо трепета меня пробирает страх и какая-то злость. Роз, застукав нас в такой странной позе, сердится, хмурится. Миссис Грейс хватает ее за руку, будто хочет подтянуться, подняться, но вместо этого тянет Роз на себя, на нас, и вот мы барахтаемся, куча мала, и реют волосы Роз, и вот, опершись на локти, отдуваясь, мы — звездою, ноги к ногам — распростерты в примятых папоротниках. Я встаю, я боюсь, как бы миссис Грейс — сразу уже бывший предмет моих воздыханий — не вздумала снова мне демонстрировать свой испод, но она козырьком ладони прикрывает глаза и меня оглядывает с непроницаемой, жесткой, холодной улыбкой. Роз тоже вскакивает, что-то бормочет злое, не могу разобрать, и шагает в папоротники. Миссис Грейс пожимает плечом: «Ревность», — и сразу просит меня, чтоб подал ей сигарету, до смерти хочется вдруг подымить.

Когда мы вернулись к травянистому склону,

ни Хлои, ни ее отца там уже не было. Остатки пикника разбросались по белой скатерти с нарочитостью, с вызовом, как посланье, которое нам предлагается расшифровать. «Вот это мило, — кисло уронила миссис Грейс, — ушли, а мы им убирай». И тут снова вышел из папоротников Майлз, встал на колени, сорвал былинку, снова выдул свирельную ноту из прижатых один к другому больших пальцев и ждал, тихо, сосредоточенно — гипсовый фавн, — и солнце золотило солому волос, и мгновенье спустя пришел от Хлои ответ, чистый, высокий свист, иглой пронзивший летний линяющий день.

Кстати, о наблюдениях — ты наблюдаешь, тебя наблюдают, — должен упомянуть долгий мрачный осмотр, которому себя подверг сегодня утром в зеркале ванной. Как правило, я сейчас не торчу перед зеркалом дольше необходимости. Было время, было, когда мне даже вполне себе нравилось то, что я видел в зеркале, но теперь — увы. Теперь меня пугает, и это еще мягко сказано, когда вдруг на меня пялится личико, абсолютно непохожее на то, чего ожидал. Какая-то прямо пародия на меня, уныло взлохмаченный тип в хэллоуинской маске из серо-красной резины, лишь отдаленно смахивающий на облик, какой

упорно удерживаю в голове. Вообще у меня с зеркалами проблема. То есть проблем у меня с зеркалами хватает, но в основном они метафизического свойства, тогда как та, о которой сейчас скажу, абсолютно практическая. Из-за моего невозможного, несуразного роста зеркальца, скажем, для бритья всегда слишком низко для меня повешены на стене, и приходится в три погибели гнуться, чтоб обозреть собственную физиономию во всей полноте. И вот, когда таращусь на себя из зеркала, весь изогнутый, с этим дурацким удивлением, страшком, который теперь не отпускает меня, с отвислой челюстью и как бы в тихом недоумении вздернув брови, — я, ей-богу, похож на висельника.

Когда только сюда приехал, я решил было запустить бороду, так, по лени, не почему-нибудь, но дня три-четыре походил и заметил, что щетина какого-то ржавого цвета — теперь понятно, откуда Клэр у нас рыжая, — ничего общего с растительностью на скальпе, и вдобавок еще прохвачена серебром. Из-за этой дряни, жесткой, как наждак, в сочетании со скользким взглядом в красных прожилках, я превратился в типичного преступника комиксов, тяжкого притом и если еще не повешенного, так уж явно смертника.

На висках, где поредели седоватые волосы, проступили шоколадные пятна, привет от Аврель или от печени, да, ну конечно от печени, и не сегодня-завтра, уверен, любое пятно может взбеситься по прихоти атипичной клетки. И еще замечаю, моя rosacea цветет пышным цветом. Кожа на лбу вся сплошь в красных точках, по крыльям носа мерзкая сыпь, и даже на щеках разгорается гнусный румянец. Мой любимый, залапанный Медицинский словарь Уильяма А. Р. Томсона — Адам и Чарлз Блэк, Лондон, тринадцатое издание, 441 черно-белая, точней серо-серая иллюстрация плюс четыре цветные вклейки, от которых меня неизменно продирает мороз по коже, — мне сообщает, что rosacea, милое название для весьма неприятной болезни, *проистекает от хронической конгестии воспаленных областей лица и лба, ведущей к образованию красных попул; возникшая в результате эритэма, так мы, медики, именуем красноту кожи, может то уменьшаться, то разрастаться, но в конце концов становится постоянной и может*, на голубом глазу упреждает доктор, *сопровождаться сильным разрастанием сальных желез (см. Кожа) и ведет к сильному разрастанию носа, известному под названием гурорhута, или нос*

пьяницы. Этот повторчик… *сильное разрастание… к сильному разрастанию*— тут нетипично, слегка прихрамывает благозвучная, как правило, пусть и слегка старомодная проза доктора Томсона. Интересно, ходит ли он по визитам. Прелестен, надо думать, подле одра, так утешно влияет на страждущего, к тому же может побеседовать на разные темы, не обязательно о болезнях. Вовсе не так уж односторонни медики, как принято считать. Скажем, Роджет, который Тезаурус[11], был врач, сделал важные открытия в области туберкулеза, веселящего газа и, разумеется, мимоходом вылечил одного-другого больного. Однако нос пьяницы — н-да-с, хорошенькая перспектива.

Когда так разглядываю свое лицо, на ум, естественно, приходит Боннар, последние этюды к автопортрету перед зеркалом в ванной Ле-Боске, к концу войны, когда у него умерла жена, — критики считают эти портреты безжалостными, хоть не понимаю, при чем тут жалость, — но в общем-то мое отражение мне напоминает скорее, да, вот только сообразил, портрет Ван Гога, не тот, знаменитый, с повязкой, с трубкой и в скверной шляпе, а тот, из ранних, написанный в Париже

[11] Сноски: 11

Питер Марк Роджет (1779–1869) — английский врач и составитель знаменитого словаря (Тезауруса) синонимов.

в 1887-м, с высоким воротом, в галстуке цвета берлинской лазури, еще при всех своих ушах, вид такой, будто он только что после пытки, лоб скошен, виски запали, щеки ввалились, как от голода; он косится из рамы, настороженно, с сердитым предчувствием, ожидая худшего, и не зря.

Сегодня меня особенно впечатлило состояние моих глаз, белки сплошь в ярко-красных прожилках, влажные нижние веки воспалены, чуть отстают от глазных яблок. У меня, замечаю, почти не осталось ресниц, и это у меня, чьей шелковой бахроме когда-то могла бы позавидовать девушка. На верхнем веке, изнутри, на самом краешке, сидит такая шишечка, перед закруглением к лузгу, она даже вполне ничего себе с виду, если б не эта вечная желтая точечка в центре, прямо как гнойничок. А бутон в самом лузге, это еще зачем? Нет, нельзя так пристально изучать человеческое лицо. Бледность тронутых покраснением щек, впалых, да, боюсь, впалых, как у бедняги Ван Гога, подчеркнута из-за сияния белых стен и эмалевой раковины. Это сияние — не свет северной осени, скорей оно похоже на жесткий, упрямый, сухой блеск далекого юга. Этот блеск нырнул в зеркало, утонул в унынии стен, сделал их пересохшими, ломкими, как скелет каракатицы. От изгиба ра-

ковины он растекся во все стороны, как далекий, далекий туман. Стоя тут в белом кубе света, я на миг перенесся на дальний берег, настоящий, придуманный, сам не знаю, но все подробности были прочерчены с достоверностью сна, и я сидел на твердой грядке сланцевого песка и держал большой плоский гладкий синий камень. Был он теплый, сухой, и, кажется, я его тронул губами, и на вкус он был, кажется, солоноват, отдавал морскими глубями, далями, баснословными островами, местами, забытыми среди никнущих папоротников, хрусткими скелетами рыб, водорослями и гнилью. Мелкие волны передо мной у приплеска говорили по-человечески, возбужденно шептали о древней беде, о гибели Трои, наверно, а может, о погружении Атлантиды. Все блестит, все искрится, течет. Водные бусы рвутся, серебряной снизкой падают с края весла. Вижу черный корабль вдалеке, он все ближе, он каждую секунду все ближе. Я готов. Я слышу вашу песню, сирены. Я готов, я почти готов.

II

По-моему, мы, Хлоя, Майлз и я, чуть ли не целыми днями торчали на море. Плавали под солнцем и под дождем; плавали утром, когда море вялое, как суп, плавали ночью, поддевая плечами рулоны черного блестящего шелка; как-то остались в воде во время грозы, и молния раскроила поверхность моря, и мы услышали треск, и запахло паленым. Пловец я был не ахти. Близнецы учились плавать, можно сказать, с пеленок и рассекали волны без малейших усилий, двумя парами сверкающих ножниц. Недостаток ловкости, грации я восполнял выдержкой. Мог одолевать большие дистанции и часто, было б кому смотреть, гребя боком, упрямо молотил воду, пока не только сам выбивался из сил, но истощал терпение зрителей.

Именно после одного такого сеанса впервые меня осенило, что отношение Хлои ко мне изменилось, точней сказать, что отношение это у Хлои есть, и вот оно изменилось. Дело было вечером, я проплыл — ну сколько? сто, двести ярдов? — между двух замшело-зеленых бетонных

молов, которые невесть когда вдвинули в море в тщетной надежде остановить упорное размывание берега. Я вылез из воды и обнаружил, что Хлоя меня дожидалась, тут, на берегу, все время меня дожидалась, пока я плавал. Закуталась в полотенце, вся дрожит; губы — синие. «И нечего было выпендриваться», — бросила сердито. Я не успел ответить, — и что ответишь, ведь она права, я выпендривался, — из-за дюн над нами выскочил Майлз, побежал, обрызгал нас песком, и вдруг представилось — очень четко, до жути трогательно: Хлоя, какой я увидел ее в тот день, когда из-за края той, другой дюны она выбежала — прямо в центр моей жизни. Она, значит, протянула мне полотенце. Кроме нас троих никого не было на берегу. Сырой серый вечер отдавал намокшей золой. Вот вижу: мы поворачиваем, мы бредем к бреши в дюнах, которая нас приведет к Станционной. Полотенце Хлои краем метет песок. Я выступаю — полотенце наброшено на плечо, зализаны мокрые волосы, — римский сенатор в миниатюре. Впереди бежит Майлз. Но кто это медлит на политом сумерками берегу, у потемневшего моря, которое, как зверь, выгнув спину, встречает ночь, а она все быстрей, быстрей накатывает с отуманенного горизонта? Не

мой ли это собственный призрак смотрит, как мы — они — эти трое детей — растворяются в пепельном воздухе и вот уже канули в брешь, которая их приведет к Станционной?

Я еще не описал Хлою. Внешне мы с ней в том возрасте мало различались, то есть я имею в виду — по части того, что поддавалось сравнению. Даже волосы, чуть ли не совсем белые, но, когда мокрые, потемней, цвета спелой пшеницы, были у нее едва ли длинней моих. Она стриглась под пажа, челка свисала на прелестный высокий, странно выпуклый лоб, удивительно похожий — вдруг стукнуло — на лоб того видения, что в профиль витает в углу одного холста у Боннара, «Стол у окна», да, и там еще ваза с фруктами, книга, а само окно, кстати, как холст, видный сзади, прислоненный к мольберту; теперь для меня все на свете — что-то еще, то и дело себя ловлю. Один парень с Полей, постарше, как-то, помню, меня уверял с ухмылкой, что такая челочка, как у Хлои, верный признак, что девчонка сама с собой тешится, сама с собой играет. Я не понял, что он имел в виду, но я-то знал, что вовсе Хлоя не играет, сама ли с собой или как. Лапта, прятки, которыми я так увлекался раньше в Полях, были не для нее. Как она хмыкнула, раздувая ноздри, когда я ей

сообщил, что в Полях некоторые девчонки ее возраста еще в куклы играют. Большинство своих ровесниц она глубоко презирала. Нет, не играла Хлоя, ни с кем не играла, разве что с Майлзом, и то, чем они занимались, игрой не назовешь.

Парень, который сказал про челку — вдруг вижу его, прямо передо мною стоит, Джо, не помню фамилии, крупный, кряжистый, мясистые уши, грива торчком, — сказал еще, что у Хлои зеленые зубы. Я возмутился, но он оказался прав; в самом деле, когда мне представилась возможность их разглядеть вблизи, я заметил, что эмаль резцов чуть отдает зеленым, но тонко, влажно серо-зеленым, вот как влажный свет под деревьями после дождя, как матово-яблочный, зеленоватый испод листа, отраженный в тихой воде. Яблочный, да, и дыхание ее пахло яблоком. Зверушки, какие мы были зверушки, друг друга обнюхивали. Особенно нравился мне, когда время пришло учуять, сырный, что ли, такой дух от внутренней стороны ее локтей и коленок. Она не была, вынужден это признать, самой чистоплотной из девочек, и всегда, ближе к вечеру все сильней, пахло от нее чем-то таким непонятным, стоялым, как пахнет, как раньше пахло, от пустых коробок из-под бисквитов — не знаю, их теперь еще про-

дают поштучно, бисквиты из больших, жестяных квадратных коробок? Ее руки. Глаза. Обгрызенные ногти. Все это я помню, очень помню, но все разрозненно, а собрать, составить целое — нет, не могу. Как ни стараюсь, как себя ни обманываю, не могу, не могу воскресить ее в памяти, как, скажем, ее мать или Майлза, даже толстоухого Джо с Полей. Она волнится в глазах моей памяти, всегда на одном расстоянии, всегда не в фокусе, и пятится с ровно такой же скоростью, с которой я рвусь вперед. Но раз то, что там, впереди, стал б для меня сокращаться, все быстрей и быстрей, почему же мне никак ее не догнать? И сейчас еще часто — увижу на улице, чуть ли не обознаюсь, ну вылитая, тот же выпуклый лоб, и бледные волосы, и стремительный, смешно спотыкливый, чуть косолапый шаг, только всегда моложе, гораздо, гораздо моложе. Эта тайна меня всегда занимала и сейчас занимает. Как может она быть — со мной, а в следующую секунду — нет? Как она может быть где-то еще, совершенно? Вот чего я не мог понять, с чем не мог примириться, до сих пор не могу. Раз не вижу ее, ей бы стать чистым вымыслом, воспоминанием, сном, но все мне твердит о том, что и вдали от меня она прочно, упрямо, непостижимо остается собой. А

ведь люди уходят, они исчезают. Это тайна еще покрупней; самая великая тайна. Скоро и я уйду, ох, не успею оглянуться, уйду, исчезну, как не был на свете, только вот к жизни привыкаешь за долгие годы, и не хочется умирать, как — приблизительно — учит нас доктор Браун[12].

— Пациент, — сказала Анна как-то, уже под конец, — смешное слово. Я, признаться, ничуть себя не чувствую пациентом.

Когда в точности я перенес свою привязанность — пора бы излечиться от этой страсти к старомодным оборотам — с матери на дочь, не могу припомнить. Ну да, была та пронзительная догадка на пикнике, когда Хлоя стояла под сосной, но прошибло-то меня эстетически, тут не эротика была, не влюбленность. Нет, не помню великого мига признанья, прозренья, когда бы, скажем, рука Хлои робко скользнула в мою, ни пылкого объятья, ни робкой клятвы в вечной любви, ничего. То есть кое-что, даже все это, наверно, было, в первый раз взялись за руки, обнялись, объяснились, но эти первые разы сплошь затеряны в темных складках ветшающего час от часу времени. Даже тот вечер, когда, стуча зубами, я вылез

---

[12] Сноски: 12

Сэр Томас Браун (1605–1682) — английский ученый, религиозный мыслитель.

из моря и увидел, что она, посинев, ждет меня на темном уже берегу, не припомню беззвучного взрыва, каким, считается, должна полыхнуть любовь и в туговатом, положим, мальчишеском сердце. Я видел, как она замерзла, понял, как долго она ждала, отметил грубую нежность, с какой она кутала полотенцем мои тощие ребра в гусиной коже, а край его накидывала мне на плечо, но отметил всего лишь с горячей признательностью, как бы теплый порыв овеял пламя где-то у меня под лопаткой, и на миг оно ярко зашлось. Но все время, все время тайно шло превращение, чтоб уж не сказать пресуществление.

Помню один поцелуй из столь многих, которые забыл. Был он наш первый, не был — не знаю. Как много они тогда значили, поцелуи, как все вдруг вспыхивало, загоралось, гремело, — фейерверки, хлопуши, гейзеры. Тот имел место, нет, мы им обменялись, нет, насладились в хлипкой киношке, которая с этой именно целью исподволь вырастала из косвенных упоминаний, предусмотрительно рассыпаемых по этим страницам. Это был, в общем-то, просто сарай, на кустистом пустыре между Скальной и морем. Крыша — железная, крутым коньком, никаких тебе окон, только сбоку — дверь, занавешенная длинным

пологом, кожаным, что ли, в общем, из чего-то такого плотного, чтобы экран не засвечивался, когда заскальзывали опоздавшие на ранний сеанс, или вечером, когда солнце последними лучами палило из-за теннисных кортов. Сидели на деревянных скамьях, мы их называли — лавки, экраном служил большой холщовый квадрат, который от каждого блудного ветерка томно потягивался, и тогда чересчур вызывающе колыхалось шелковое бедро героини или неприлично вздрагивала на курке мужественная рука. Хозяином был мистер Реккет — Риккет? — маленький такой, в свитерке, а помогали ему сыновья, двое крупных, красивых подростков, которые слегка стеснялись, по-моему, семейного дела, отдававшего вольностями кабаре. Имелся всего один проектор, шумная дрянь, со склонностью к перегреву, — ей-богу, я видел однажды, как дым валил из нутра, — так что полнометражные фильмы прокручивались минимум в два приема. В перерывах мистер Р., он же и киномеханик, света не зажигал, тем самым предоставляя возможность — нарочно, уверен, ибо кинематограф Риккета или Реккета пользовался зазывно-дурной репутацией — многочисленным парочкам, в том числе несовершеннолетним, минуту-другую

тискаться в полной тьме.

В тот вечер, дождливый субботний вечер памятного поцелуя, о котором пойдет сейчас речь, мы с Хлоей сидели в середине скамьи так близко к экрану, что легчайшее мерцанье черно-белых фантомов тяжело нависало над нами, грозя придавить. Я держал руку Хлои так долго, что уже и не чувствовал, что ее держу, — никакое соитие так не сплавляет тела воедино, как эти детские сплетания пальцев — и тут экран запнулся, побледнел, ее рука трепыхнулась, у меня все оборвалось внутри. На экране прямо над нами еще дрожал серый, пасмурный свет, долгую секунду он длился, перед тем как погаснуть, и даже совсем потухший, потом еще подержал образ — тень тени. Темнота, как обычно, взорвалась свистом, криками, громовым топотом. Как по сигналу, под этой шумовой завесой мы с Хлоей повернулись друг к другу и набожно, как к причастной чаше, приникали друг к другу, пока наши губы не встретились. Мы ничего не видели, от этого все обострялось. Я как будто летел, без усилья, в плотной, припудренной тьме. Грохот вокруг стал страшно далеким — смутный слух, отзвук дальнего грома. У Хлои были сухие, холодные губы. Я чувствовал, как ей трудно дышать.

Когда наконец, странно, со свистом вздохнув, она оторвалась от меня, что-то горячее вдруг прошлось, разлилось, потекло у меня по хребту. Но тут мистер Риккет, Реккет — возможно, Роккет? — кое-как наладил проектор и зрители относительно стихли. Экран вспыхнул белым, фильм зашуршал, замелькал к своему концу, и за секунду перед тем, как включиться музыке, я услышал, что дождь, оголтело гремевший железом крыши, вдруг перестал.

Счастье в детстве — совсем другое. Тогда это как бы вопрос собирания — собираешь, копишь новые чувства, новые впечатления, вертишь, прилаживаешь, как гладкие такие кирпичики — когда-нибудь из них вырастет дивная постройка: ты сам. И ощущение невероятности — оно тоже входило в понятие счастья, то есть восторженная неспособность поверить: неужели это со мной? Вот я — и вдруг с девочкой, делаю то, что делают взрослые, держу ее за руку, целуюсь с ней в темноте, и, когда кончается фильм, я отступаю в сторонку, откашливаюсь не без торжественности, учтиво ее пропускаю вперед, под тяжелый занавес, в дверь — в промытый дождем летний солнечный вечер. Я был — я и кто-то совсем другой, кто-то совсем новый. Идя за нею в толпе

по направлению к Береговому Кафе, я пальцем ощупал губы, которые ее целовали, чуть ли не предполагая, что они у меня изменились, неуловимо, но важно, как изменился день, увешанный толстобрюхими тучами, набухший дождем, но все-таки день еще, когда мы входили в кино, а теперь он вдруг превратился в вечер, и смуглый свет весь исчерчен косыми тенями, и кусты, шурша, отряхиваются от звезд, и красный парус там, в бухте, от нас воротит нос и уходит к уже подернутому далью, уже синему горизонту.

То кафе. В том кафе. В том кафе мы.

Был вот такой же вечер, воскресный вечер, когда я приехал сюда насовсем после того, как наконец Анна ушла. Даром что осень, не лето, тот же был смуглый свет, и чернильные тени лежали длинные, стройные, как срубленные кипарисы, и так же казалось, что все течет, моросит рубинами и звездами, и так же сине искрилось море. Мне почему-то полегчало; было так, будто вечер, весь промокший, отряхиваясь от напрасного пафоса, до поры до времени снимал с меня груз гореванья. Наш дом, или мой дом — так ведь теперь, наверно, — был еще не продан, я пока не решался выставить его на торги, но оставаться там не мог ни минуты. После смерти Анны он стал до

жути пустой, сплошная комната для игры с эхом. Что-то стояло враждебное в воздухе, и так грустно рычал старый пес, недоумевая, куда подевалась любимая хозяйка и зачем это хозяин все еще тут торчит. Анна не разрешала никому сообщать о ее болезни. Подозревали, конечно, неладное, но только уж на последней стадии догадались, в чем дело. Даже Клэр предоставили самой догадаться, что у нее умирает мать. И вот все кончилось, и кое-что новое для меня начиналось: деликатная миссия — оставаться в живых.

Мисс Вавасур смущенно взволновалась при моем появлении, красные пятна кружочками выступили на высоких, тонко-морщинистых скулах, она все всплескивала руками, поджимала губы, укрощая улыбку. Когда она мне открыла, полковник Бланден был тут как тут в коридоре, подпрыгивал то из-за одного, то из-за другого ее плеча; я сразу понял, что его не порадовал мой вид. Вполне сочувствую; в конце концов, он здесь царил единственным петухом, а тут я заявился и турнул его с насеста. Пронзая взглядом мой подбородок, приходившийся по уровню его глаз — росточком полковник не вышел, хоть держится прямо, как струнка, — он мял мою руку, откашливался, сплошная мужественность,

крутизна, рявкал что-то насчет погоды, слегка, по-моему, переигрывая роль старого вояки. Что-то в нем такое, ненастоящее, слишком старательное, слишком уж бьющее на правдоподобие. Сияющие башмаки, твидовый пиджак от Харриса, с кожаными заплатами на локтях и манжетах, канареечный жилет, в котором он щеголяет по выходным, — все это несколько чересчур. Стылая безупречность актера, давно заигравшего роль. Неужели действительно он старый армеец? Усиленно скрываемый белфастский акцент все равно прорывается, как запертый ветер. А в общем-то — чего уж скрывать? Ну что такого этот акцент может нам выдать? Мисс Вавасур признается, что не раз примечала, как он юркал в церковь на раннюю воскресную службу. Полковник из Белфаста — католик? Сомнительно; и весьма.

В эркере салона, то есть бывшей гостиной, был накрыт к чаю раздвижной столик. Комната была точно такая, какой мне запомнилась, или так мне казалось — память норовит без зазора прилаживаться к местам и предметам при возвращении в прошлое. Этот столик — неужели он тот же, возле которого миссис Грейс охорашивала цветы в тот день, когда играла с мячом собака? Сервировка

на высоте: большой серебряный чайник, под стать ему ситечко, прекрасные чашки, щипцы для сахара, салфеточки. Сама мисс Вавасур выступала в японском стиле — пучок, крест-накрест проткнутый двумя большущими булавками, мне некстати напомнил те эротические гравюры японцев восемнадцатого столетья, на которых одутловато-фарфоровые матроны хладнокровно дают себя тискать гримасничающим господам с несуразно огромными членами и, всегда с удивлением их отмечаю, непостижимо гибкими пальцами ног.

Разговор разваливался. Мисс Вавасур как-то еще не оправилась, у полковника урчало в животе. Поздний луч, пробив куст в шуршащем саду, слепил глаза, на столе от него все дрожало и зыбилось. Я чувствовал себя слишком громадным, не знал, куда деться, как скверный подросток, которого отчаявшиеся родители отправили в деревню, на попечение к парочке пожилых родственников. Может, это все — гнусная ошибка? Может, пробормотать извинение, а и смотаться на ночь в гостиницу или даже домой, и пускай там пусто, пускай там эхо? Но тотчас я сообразил, что для того сюда и явился, чтоб была ошибка, чтоб было гнусно, чтоб сам я был, по словцу

Анны, да, чтоб я был неуместен. «Ты с ума сошел, — говорила Клэр. — Ты ж там помрешь со скуки». Да, ей хорошо рассуждать, пикировал я, обзаведшись чудной новой квартирой, *не теряя времени* — этого я не прибавил. «Ну так давай, живи со мной, — сказала она, — места и на двоих хватит». Жить с ней! Места хватит! Но я только поблагодарил и сказал, что мне нужно побыть одному. Не выношу этот взгляд, каким она теперь на меня смотрит, сплошная нежность, дочерняя забота, и голова набок, вот как у Анны бывало, и вздернута бровь, участливо сморщен лоб. Не надо мне участия. Мне дайте злость, ругань, грубость. Я как тот страдающий бешеной зубной болью упрямец, который с мстительным наслаждением все давит кончиком языка на пульсирующее дупло. Вот, воображаю — кулак, из ниоткуда, с размаху, мне заезжает по морде, даже чувствую стук, слышу, как трещит переносица, и почему-то мне легче. После похорон, когда все вернулись в дом — ужасно, ужасно, немыслимо, — я так сжал рюмку, что она треснула у меня в кулаке. Удовлетворенный, я смотрел, как течет моя кровь, будто это кровь заклятого врага и я его от души полоснул.

— Вы, стало быть, по части живописи, — осто-

рожно начал полковник. — И много она дает?

Он имел в виду — денег. Мисс Вавасур, поджав губы, свирепо нахмурилась и укоризненно затрясла головой.

— Он только о ней пишет, — зашептала она, глотая слова, как будто таким образом я буду избавлен от необходимости их услышать.

Полковник быстро переводил взгляд с меня на нее и молча кивал. Он все ждет подвоха, к такому приучен. Когда пьет чай, отставляет мизинец. На другой руке мизинец навсегда прижат к ладони, какой-то это синдром, вполне даже обычный, только я названье забыл; впечатление такое, будто ему больно, но он уверяет, что нет. Эта рука вдруг пышно, элегантно и широко взмывает — жест дирижера, будящего деревянные духовые или извлекающего из хора фортиссимо. Легкий тремор тоже имеет место, чашка не раз клацала о передние зубы, вставные, конечно, судя по ровности и белизне. На обветренном лице и с тылу ладоней кожа сморщенная, темная и глянцевитая, как та плотная глянцевая бумага, в которую, бывало, заворачивали что-нибудь неудобопакуемое.

— Понимаю, — сказал он, конечно ничего не поняв.

Однажды в 1893 году Пьер Боннар заметил девушку, сходившую с парижского трамвая, привлеченный ее хрупкой бледной миловидностью, проводил до места, где она работала — pompes funèbres[13], целыми днями нанизывая жемчуга на кладбищенские венки. Так с самого начала смерть оплела их жизни траурной лентой. Он быстро с ней познакомился — как я понимаю, это легко и лихо делалось в дни Belle Epoque[14], — и вскоре затем она бросила работу и все прочее в своей жизни и переселилась к нему. Она сказала, что зовут ее Марта де Мелиньи и что ей семнадцать. На самом же деле, хоть ему это довелось узнать уже через тридцать лет, когда он на ней надумал жениться, звали ее Мария Бурсен, и, когда они познакомились, ей было не семнадцать, а так же, как самому Боннару, двадцать с хвостом. Так вот и сошлись они на светлые и черные дни, а если точней, сероватые большей частью, почти на пятьдесят лет — пока Марта не умерла. Таде Натансон, одна из ранних покровительниц Боннара, в своих мемуарах о нем беглыми, импрессионистическими штрихами рисует силь-

---

[13] Сноски: 13
Похоронное бюро *(франц.)*.

[14] Сноски: 14
Прекрасная эпоха *(франц.)*.

фидную Марту, помянув *дикий взгляд птицы, движенья на цыпочках.* Была она скрытная, ревнивая, жуткая собственница, страдала манией преследования и отчаянной, страстной мнительностью. В 1927-м Боннар купил дом, Ле-Боске, в неприметном городке Ле-Канне на Лазурном берегу, и там прожил с Мартой, заточась в периодически мучительном уединении, пятнадцать лет, до ее смерти. В Ле-Боске она пристрастилась к многочасовым ваннам, и там-то, в ванне, Боннар и писал ее, снова и снова, продолжая писать, когда уж ее не стало. В «Обнаженной в ванне, с собачкой», начатой в 1941-м, за год до смерти Марты, и оконченной лишь в 1946-м, она лежит, розовая, лиловатая, золотая, богиня плавучего мира, истонченная, безвозрастная, ни мертвая ни живая, а рядом на плитках лежит коричневая собачонка, ее любимица, такса, по-моему, бдительно свернувшись на своем коврике, или это квадрат слоистого света, упавший из невидимого окна. Узкая комната, прибежище Марты, дрожит вокруг, вибрирует красками. Невозможно длинная левая нога напряженной стопой упирается в край ванны и как будто ее толкает, меняет ей форму, и как бы взбухает левый край, и пол под ванной с этой стороны, в том же силовом поле,

тоже сдвинут, и кажется, вот-вот он прольется в угол, не пол, а текучий пруд, поблескивающий водой. Все течет, дрожит, движется в тишине, в молчанье воды. Плеск, шелест, шорох. На воде у левого плеча купальщицы красно-ржавое пятно, может, ржавчина, а может, засохшая кровь. Правая рука лежит на бедре, упокоенная простертостью тела, и я вспоминаю руки Анны, на столе, в тот день, когда мы впервые вернулись от доктора Тодда, эти ее беспомощные ладони, открытые, как будто просящие о чем-то, кого-то по ту сторону стола, но там никого нет.

И она, моя Анна, тоже пристрастилась к долгим ваннам средь бела дня. Успокаивает, говорила. На всю осень, всю зиму в тот год ее долгого умирания мы заперлись в нашем доме у моря, в точности как Боннар с Мартой в Ле-Боске. Погода была мягкая, такое даже погодой не назовешь, как будто незакатное лето неприметно перетекало в конец года в отуманенной тишине неизвестно какого сезона. Анна боялась весны, непереносимого гомона, суетни, она говорила, всей этой жизни. Глубокая, сонная тишь нас окутывала, мягкая и густая, как ил. Анна так затихала в своей ванной первого этажа, что я иногда даже пугался. Мерещилось, что вот она, поскользнувшись, без звука

уходит под воду, испускает последний водяной вздох. Я прокрадывался вниз по лестнице и стоял на площадке, затаясь, не шевелясь, будто я сам под водой, и жадно ловил признаки жизни за дверью. В гнусном, предательском уголке души, конечно, мелькало желанье, чтоб так оно и было, чтоб все это кончилось, для нее, для меня. Но вот слышался легкий вздох воды — это она шелохнулась, легкий всплеск — потянулась за полотенцем, за мылом, — и я отворачивался, плелся к себе, прикрывал за собой дверь, садился за письменный стол, смотрел в серое свечение вечера и старался не думать.

— Бедный Макс, — сказала она как-то, — за каждым словом следить приходится, все время надо быть милым.

Она тогда уже была в приюте, в дальней комнате в старом крыле, с угловым окном, смотревшим на клин живописно запущенного луга и шелестящую, на мой взгляд совершенно ненужную просадь высоких, огромных черновато-зеленых деревьев. Весна, которой она так пугалась, пришла и ушла, но она слишком была больна, чтобы беспокоиться из-за шума и гама, и теперь наступило влажно-жаркое, липкое лето, последнее, какое ей суждено было видеть.

— О чем ты? — сказал я. — Приходится все время быть милым?..

Она так много странного говорила тогда, как будто уже была где-то там, где меня нет, где даже слова переменили значения. Сдвинула голову на подушке и мне улыбнулась. В лице, иссохшем почти до костей, проступила какая-то пугающая красота.

— Ну, тебе теперь даже нельзя чуточку меня ненавидеть, — она сказала, — как раньше.

Поразглядывала деревья, опять повернулась ко мне, потрепала по руке.

— Ну чего ты уж так-то расстроился, — сказала она. — Я тоже тебя ненавидела — чуточку. Мы же люди были, человеки, ведь правда.

Она тогда уже употребляла предпочтительно прошедшее время.

— Не желаете ли посмотреть свою комнату? — осведомилась мисс Вавасур. Последние спицы солнца, пробивая эркер окна, будто осыпались осколками при пожаре. Полковник угрюмо счищал со своей рыжей жилетки пятно от пролитого чая. У него был обиженный вид. Наверно, что-то мне говорил, а я не слушал. Мисс Вавасур повела меня по коридору. Я нервничал: сейчас придется принять этот дом, примерить, как что-то такое,

что нашивал в другое, райское время, некогда франтоватую шляпу, давно не модные туфли, свадебный костюм, который не сходится в талии, жмет под мышками и по всем карманам топырится от воспоминаний. Коридора я вообще не узнал. Он коротенький, узкий, тусклый, стены разделены по горизонтали пупырчатой линией, причем нижняя часть заклеена затейливыми обоями, на вид столетними, а то и постарше. Я, собственно, никакого не помню тут коридора. По-моему, входная дверь открывалась прямо — да, вот только куда же она открывалась? На кухню? Шлепая за мисс Вавасур со своей сумкой, как благонравный убийца в каком-то старом, еще черно-белом триллере, я чувствовал, что модель дома у меня в голове, как ни старалась приладиться к оригиналу, все натыкалась на упорное сопротивление. Все выступало немного не в том масштабе, слегка не под тем углом. Лестница оказалась круче, площадка тесней, окно сортира смотрело не на дорогу, как ему предписывала моя память, а на тылы, через поля. Я чуть ли не с ужасом отмечал, как реальность, непроходимо пошлая реальность бралась за вещи, которые, мне казалось, я помнил, и, встряхнув, ставила все на свои места. Что-то драгоценное таяло, утекало

у меня между пальцев. Но с какой же легкостью я в конце концов его отпустил. Прошлое, я хочу сказать, подлинное прошлое, куда меньше значит, чем нам бы хотелось. Когда мисс Вавасур меня оставила там, где отныне была моя комната, я бросил пиджак на стул, сел на край постели, глубоко вдохнул стоялый, нежилой воздух и понял, что странничал долго, годами и пришел наконец туда, куда неведомо для меня самого все время лежал мой путь и где я останусь, потому что нет для меня теперь никакого другого места, другого приюта.

Мой приятель дрозд минуту назад появился в саду, и вдруг я сообразил, что мне напомнили веснушки Аврель в тот день нашей встречи, во дворе у Дуиньяна. Птичка как всегда занимает свой пост на кусте падуба и окидывает план местности воинственным бусинно-ярким глазком. Дрозды славятся своей храбростью, и этот с совершеннейшим равнодушием смотрит, как соседский Барсик шествует в высокой траве, и даже чирикает слегка сардонически, пушит перья, пятит рыжую грудку, будто издевательски демонстрируя, какой лакомый, прелестный кусочек он бы собой представлял, умей кошки летать. Как только его увидел, сразу вспомнилось, с болью,

столь же некрупной и столь же отдельной, как сам этот дрозд, то, давным-давно разоренное гнездо в кусте утесника. В детстве я увлекался птицами. Не то чтоб я их наблюдал, какой из меня наблюдатель, и мне было неинтересно их открывать, классифицировать, именовать, это было выше меня, да и скучно; нет, я с трудом отличал один вид от другого, мало знал, а тем более знать не хотел их историю и повадки. Я умел находить их гнезда, вот была моя специальность. Тут надо иметь терпенье, ловкость, быстрый глаз и что-то еще, способность быть заодно, что ли, с крошечными существами, которых выслеживаешь. Один ученый, забыл фамилию, в опроверженье чего-то, не помню чего, утверждает, что человек не в состоянии поставить себя на место, скажем, летучей мыши. В целом я с ним согласен, но мог бы дать ему прекрасный отчет о таком состоянии птичества, мышества — в детстве, когда сам был еще зверушкой.

Я не был жестоким, ни за что не убил бы птицу, не стал бы красть яйца, ни боже мой. А толкало меня любопытство, простое желанье разузнать кое-что из секретов других, непохожих существ.

Что меня всегда поражало — так это контраст между гнездом и яйцом. Я имею в виду случай-

ность первого, как бы добротно, пусть даже красиво ни было оно построено, и совершенство второго, его беспорочную полноту. Еще до начала всего — яйцо есть абсолютный конец. Воплощение самодостаточности. Я прямо-таки страдал при виде разбитого яйца, крошечной трагедии. В том случае, о каком пойдет речь, я, видно, сдуру кого-то навел на гнездо. Это было в гуще утесника, у холмика посреди открытого поля, меня легко было выследить, я неделями туда наведывался, уже наседка привыкла. Кто это был? Малиновка, дрозд? Словом, кто-то такой покрупней. И вот — прихожу, а яиц нет. Два унесли, третье раздавили на земле под кустом. Осталась только мазня из желтка и белка да несколько осколков скорлупы, каждый в мелком коричневом крапе. И что мне, казалось бы, та минута, я же был бессердечен, как все мальчишки, а вот поди ж ты, все еще вижу тот куст, чую маслянистый запах цветов, помню точный оттенок коричневых пятен, ужасно похожих на веснушки Аврель на бледных щеках и на переносице. Память о той минуте на полвека застряла в душе, эмблемой драгоценного, канувшего, непоправимого.

Анна косо сползает с больничной постели, ее рвет на пол, полыхающий лоб втиснут в мою

ладонь, круглый, хрупкий, как страусово яйцо.

Я в Береговом Кафе, с Хлоей, после того фильма и памятного поцелуя. Мы сидим за пластиковым столиком, пьем наше любимое: шипучий апельсиновый сок, а в нем плавает щедрый кус ванильного мороженого. Удивительно, с какой отчетливостью, стоит сосредоточиться, я нас вижу. Ей-богу, можно прожить жизнь сначала, напряги только умеючи память. Наш столик у самой открытой двери, откуда к нам под ноги падает толстый солнечный брус. Время от времени забредает с моря блудный ветерок, кропит пол тонким песком, а то занесет конфетный фантик, он продвинется, замрет, снова продвинется со скребущим звуком. В кафе почти пусто, только несколько мальчишек, парней скорее, в глубине, в уголке, дуются в карты, да за стойкой жена хозяина, крупная, русая, вполне ничего из себя женщина, смотрит в дверь пустым, мечтательным взглядом. На ней голубой халат, или это фартук, с зубчатой белой оборкой. Как же ее звали? Ну как? Нет, ускользает — вот вам и хваленая память мадам Памяти. Ладно, миссис Кафе, пусть будет миссис Кафе, не важно. Она еще стояла как-то по-своему, очень даже помню, твердо, квадратно, протянув одну веснушчатую

руку по стойке, а другую вжав в высокий край кассы костяшками пальцев. Желтовато пузырился апельсиновый сок. Мы пили через бумажные соломинки, в приступе застенчивости старательно отводя друг от друга глаза. Я чувствовал полное, совершенное успокоение, вот как простыня, расправясь, укладывается на постель, сам себе создавая воздушную подушку, как опадает шатер. Факт этого поцелуя во тьме кино — да, вспомнил, ну конечно, это был наш первый поцелуй — стоял между нами, насыщенный такой значительностью, что никуда от нее не деться. Эти зачаточные, светлые усики над верхней губой у Хлои — мои губы ведь помнили их соболью нежность. Мой стакан почти опустел, я жутко стеснялся, что сейчас в соломинке неприлично заурчит, как в желудке. Тайком, из-под век, я разглядывал ее руки, одна была на столе, другая держала стакан. Пальцы были пухлые до первого сустава, потом сужались к концу: руки матери, я догадался. Из приемника миссис Кафе изливалась песня с истомно-сладкой мелодией, Хлоя рассеянно подвывала. Как же много тогда значили песни, все эти томления-расставания-встречи, которые, обознавшись, мы принимали за любовь. Лежишь ночью, на даче, в постели, ветер доносит их под

медный взрыд духовых с танцев в Береговой или Гольфовой, и воображаешь, как, девочки с перманентом, в нежно-голубом, в ядовито-зеленом, парни в спортивных, ворсистых пиджаках, в туфлях на бесшумном ходу, на толстенных подошвах, кружат, кружат в пыльной, жаркой, зеркальной тьме. *Все вокруг, все вокруг озаряет луна, милый друг, милый друг, нас целует она!* А дальше, за всем за этим — мрак, и песок, невидимый, сверху прохладен, а пониже хранит еще дневное тепло, и долгие линии волн подсекаются косо о берег, светясь будто сами собой, изнутри, и над всем над этим ночь, молчаливая, скрытная, пристальная.

— Дурацкая картина, — объявила Хлоя. Она наклонила лицо к самому краю стакана, и свесилась челка. Волосы — бледные, как солнечный коврик у нее под ногами… Нет, постойте, я спутал, тут что-то не сходится. Не могло это быть в день того поцелуя. Когда мы вышли из кино, был вечер, еще не просохший после дождя, а сейчас яркий день, потому и этот нежный луч солнца, и шальной ветерок. И где Майлз? В кино он был с нами, так куда он мог подеваться, он же никогда не отходил от сестры, если его не турнуть? Да уж, мадам Память, беру назад свои комплименты, если тут ответственны вы, а не какая другая, более

капризная муза. Хлоя фыркнула: — Как будто они не знали, что бандит — Это тетка на самом деле.

Опять я посмотрел на ее руки. Та, что со стаканом, скользнула вниз, к дну, проткнутому стрелой чистого, белого света, другая деликатно держала у губ соломинку большим и указательным пальцами, бросая на стол бледную тень в виде клювастой, с высоким хохолком птицы. Опять я вспомнил про миссис Грейс, и что-то горячо, остро меня кольнуло, будто каленой иглой в сердце. Чувство вины? Ведь что бы она подумала, миссис Грейс, что бы сказала, доведись ей увидеть, как я здесь, за столиком, пялюсь на лиловатую тень дочкиной щеки, западающей по мере того, как соломинка подбирает последнюю сладость коктейля? Ах, да не все ли равно! В глубине души я не испытывал ни стыда, ни раскаяния, ничего такого. Любовь, условно так ее назовем, любовь склонна предательски переноситься с одного яркого предмета на другой, еще более яркий, притом в самых неподходящих обстоятельствах. Сколько раз день свадьбы кончался тем, что надравшийся, осоловелый жених, уныло глядя на новехонькую супругу, пружинящую под ним на шикарной постели молодоженского люкса, видел перед собою лицо ее подружки, или более

смазливой сестры, или даже, прости господи, матери в полном соку?

Да, я влюблялся в Хлою — уже влюбился, чего уж там. Я был в сумасшедшей эйфории, чувствовал себя валким, зыбким, как всякий, взявшийся за дело любви, себя чувствует при начале крутого подъема. Потому что тогда уже, в своем нежном возрасте, я понимал, что всегда есть тот, кто любит, и тот, кто позволяет себя любить, и знал, какова будет в данном случае моя роль. Те недели с Хлоей были для меня цепью более или менее самозабвенных унижений. Она с ошарашивающим самодовольством мне разрешала молиться у ее алтаря. Бывало, в рассеянности почти не снисходила до того, чтоб замечать мое существование, но даже когда и дарила меня как бы полным своим вниманием, была тут какая-то течь, какой-то изъян, чем-то это пахло не тем — озабоченностью, отсутствием, что ли. Ее намеренная уклончивость мучила, бесила меня, но еще страшней была мысль, что вдруг это она не нарочно. Хочет презирать меня — пусть, я ничего, я пожалуйста, но мысль о том, что иногда я просто бледнею в ее глазах до полной прозрачности, — нет, эта мысль была нестерпима. Часто, когда я нарушал ее тупое молчание, она вздрагивала,

озиралась, смотрела в угол, на потолок, только не на меня, отыскивая источник незваного голоса. Что это было — бессердечное издевательство или она минутами честно проваливалась куда-то? Разозленный до невозможности, бывало, схвачу ее за плечи, трясу, требую, чтоб меня, только меня видела, а она оседает в моих руках, роняет голову, как тряпичная кукла, хохочет как-то горлом, мучительно похоже на Майлза, и когда я грубо, злобно ее отталкивал, она падала навзничь, на диван, на песок, и лежала раскинувшись, жутко осклабясь, притворяясь мертвой.

Почему я мирился с этими выходками, капризами? Обычно я не терпел оскорблений, всегда норовил отыграться, и на любимых тоже, на любимых особенно. Мое долготерпение с Хлоей вызывалось сильнейшей потребностью ее защитить. Дайте объясню, это интересно, по-моему, это интересно. Тут, видите ли, такая тонкая, исключительная такая деликатность. Раз именно на нее я решил, я был назначен, расточать свою любовь, все в ней, душа и поступки, должны были оставаться, по мере возможности, безупречны. И было необходимо, чтобы я ее спас от ее недостатков. Задача, естественно, падала на меня, поскольку не могла же она сама исправиться, по

собственной воле. Но мало было просто ее избавить от тех недостатков, от которых страдало ее поведение, нет, надо было еще вовсю стараться, чтоб она сама ничего о них не знала, даже не подозревала. Речь не о прямых пороках. Ненаблюдательность, непроницательность, глупая самоуверенность — эти вещи следовало замазать, скрыть от нее самой, будто их и в помине нет. Тот факт, например, что она, только она, не знала, что до нее я страдал по ее матери, делал ее в моих глазах уязвимой, чуть ли не жалкой. Заметьте, тут вовсе не в том дело, что она была вторая, не первая, нет, а в том дело, что она ни о чем не догадывалась. Да выведай она вдруг мой секрет, ведь она бы перестала себя уважать, сочла б себя дурой, еще стала бы, чего доброго, думать, что она хуже матери, раз я ее не первую выбрал. Такого нельзя было допустить.

На случай, если покажется, что стремлюсь себя выставить в чересчур выгодном свете, спешу объяснить, что пекся о Хлое и ее недостатках не только в ее интересах. Ее самоуважение куда меньше меня волновало, чем мое собственное, хотя тут была, конечно, взаимосвязь. Если ее отношение к себе будет подпорчено сомнениями, мыслями, что вот она, дура, не догадалась, сразу

ведь будет подпорчено и мое отношение к ней. Так что — тактичность, осторожность, никакой прямоты, безжалостных разъяснений, никакого разоблаченья ужасных истин. Можно было трясти ее за плечи, грубо валить на песок, но ни под каким видом нельзя было выдать, что я любил ее мать до того, как влюбился в нее, что от нее пахнет лежалыми бисквитами, что Джо с Полей заметил зеленоватый оттенок ее зубов. Плетясь за ее важной раскачкой, путаясь взглядом в блондинистой запятой под узким затылком, в тончайших трещинках на фарфоровой изнанке колен, я как будто нес чашу с чем-то драгоценным, исключительно взрывчатым. Нет, никаких резких движений, ни-ни.

Была и еще причина, почему ее следовало холить, нежить и оберегать, чтоб не дай бог не испортилась, не поняла уж слишком-то хорошо себя, не раскусила меня. Она была *иная.* Я впервые столкнулся с абсолютной отдельностью, отличностью другого человека. Не будет преувеличеньем сказать — ну, будет, пусть, все равно я скажу, — что через Хлою мир мне впервые открылся в своей объективной цельности. Ни мать, ни отец, ни другие дети, ни сама миссис Грейс не были *для* меня такими реальными, такими

невозможно живыми, как Хлоя. А раз жива и реальна она, вдруг и я сам стал реальным. Она, наверно, первая во мне разбудила, извините, самосознание. Но тут еще одна сложность, такая еще одна закавыка. Отделив меня от мира, при том что я эту отдельность сумел осознать, она меня отлучила от того ощущения естественности всех вещей, в котором я до того пребывал в более или менее блаженном неведении. У меня был кров, и вот я стоял в чистом поле, и не было ни огонька впереди, и негде укрыться. Я не знал, как трудно будет потом пролезать через ту же все сужающуюся калитку.

С ней я никогда не понимал, на каком я свете, что она может выкинуть, но это, подозреваю, только делало ее для меня еще более притягательной, такова уж донкихотская природа любви. Как-то шли мы по краю моря, отыскивая те именно розовые ракушки, какие ей требовались для ожерелья, и вдруг она останавливается, не обращая внимания на купающихся в воде, на отдыхающих на берегу, хватает меня за рубашку, притягивает к себе и целует с такой силой, что губа рассекается об зубы, я чувствую вкус крови во рту и слышу сзади грудной клекот Майлза. И тут же она меня отпихнула, с презрением, можно

подумать, и двинулась дальше, остро шаря взглядом по полосе, где нежный, плотный песок жадно ждал тугую волну и втягивал с облегченным вздохом. Я в тревоге озирался. Вдруг тут мама, все видела, или миссис Грейс, Роз даже? Хлое, кажется, было абсолютно все равно. До сих пор помню то ощущенье шершавости мягких губ, зажатых зубами.

Любила она бросить вызов, да, но злилась, когда его принимали. Как-то, ранним-рано, жутковато тихим утром, когда грозовые тучи копились на горизонте, а море лежало плоское и сизо светилось, я стоял по пояс в тепловатой воде и собирался нырнуть и проплыть у нее между ног, если она разрешит, она иногда разрешала.

— Ну давай скорей, — сказала она и прищурилась. — Я только пописала.

Мне оставалось только ей подчиниться, маленькому влюбленному рыцарю. Но когда я выплыл, она объявила, что я противный, по подбородок зашла в воду и медленно поплыла прочь.

На нее находили ужасные, меня изматывавшие приступы грубости. Помню один сырой вечер, мы были вдвоем в «Кедрах», в гостиной, пахло дождем, золой и кретоном штор. Хлоя пришла из

кухни, направилась к окну, и я встал с дивана и к ней двинулся, кажется готовя попытку ее обнять. Тут же она быстро подняла руку, размахнулась и влепила мне жуткую затрещину. Ужасный такой удар, такой звонкий, такой окончательный. Я слышал, как с угла потолка сорвалось эхо. Минуту я стоял, окаменев, отвернув лицо, а она чуть попятилась, расхохоталась, потом надулась, все-таки подошла к окну, что-то взяла со стола и, хмурясь, стала разглядывать.

Раз как-то на пляже она прицепилась к городскому мальчишке и давай его истязать. День был ветреный, серый, ближе к концу каникул, уже чуть заметно звенела в воздухе осенняя нотка, Хлоя маялась, злилась. Городской этот был бледный, тощий — впалая грудь, обвисшие плавки, белые от холода соски. Мы втроем прижали его к бетонному волнорезу. Он был выше близнецов, но я еще выше, и, красуясь перед своей девочкой, толкнул его на осклизло-зеленую стену, Хлоя встала перед ним, самым своим повелительным тоном осведомилась, как его зовут, зачем он сюда заявился. Он смотрел на нее с тупым недоумением и, видимо, не понимал, чего мы к нему пристали, чего нам от него надо, так же как и мы сами, конечно. «Ну!» — крикнула Хлоя,

подбоченясь, топнув ногой по песку. Он робко улыбнулся, от смущения скорее, незаметно было, чтоб он испугался. Да вот, на день приехали, он бормотнул, с мамкой, на поезде. «Ах, с мамкой, да?» — язвительно протянула Хлоя, и, как по сигналу, Майлз подскочил и отвесил ему выразительную, звучную плюху. «Видал? — взвизгнула Хлоя. — Это тебе за то, что перед нами выпендривался!» Мальчишка, робкого десятка, бедняга, только глянул затравленно, поднял руку, ощупал лицо, как бы удостоверяясь в том поразительном факте, что его стукнули. На миг повисла напряженная тишина — все что угодно могло случиться. Ничего не случилось. Мальчишка только покорно, грустно пожал плечами, заковылял прочь, все зажимая щеку ладонью, Хлоя ко мне повернулась с вызовом, но ничего не сказала, и захохотал Майлз.

Чем же меня так зацепил этот случай? Дело тут не в выражении глаз Хлои, не в хихиканье Майлза, нет, главное — взгляд, каким посмотрел на меня мальчишка перед тем как безутешно уйти. Он меня раскусил, он понял, что я тоже из города, что бы я из себя ни корчил. Будь в этом взгляде уличенье в предательстве, злость на меня из-за того, что объединился против него с

чужими, что-то такое, я бы ничего, вполне бы даже удовлетворился, хоть стало бы стыдно, конечно. Нет, зацепило меня в этом взгляде как раз выраженье покорности, овечьей неудивленности моим предательством. Подмывало бежать, догнать, положить руку на плечо, и ведь я не каяться хотел, не оправдываться, что помог его унижать, нет, просто добиться, чтоб он опять на меня глянул, чтоб взял назад тот, первый взгляд, отменил, стер, чтоб следа его не осталось. Потому что непереносима была именно мысль о том, что меня понимают — так, как он меня, кажется, понял. Лучше, чем я сам себя понимал. Хуже.

Всегда терпеть не мог фотографироваться, а чтоб Анна меня фотографировала — особенно. Странно звучит, понимаю, но она стояла за камерой, как слепая, что-то мертвело во взгляде, гаснул какой-то существенный свет. Как будто не в линзы вглядывается, а вовнутрь, в себя, отыскивая основную перспективу, главный угол зрения. Держит камеру ровно, на уровне глаз, откинет львиную гриву, секунду смотрит, слепо, как будто твои черты записаны по некой системе Брайля и она умеет их считывать на расстоянии, а затвором щелкнет как бы так, между дел, — просто жест такой для умиротворения аппарата. На

заре наших отношений я, дурак, поддавался на ее уговоры, позировал, несколько раз позировал; результат получался кошмарный, дико разоблачительный. Глядя на эти шесть черно-белых снимков моей головы — вот именно что голову с меня сняла, — я чувствовал, что это разоблаченье поужасней, чем если бы меня представили во весь рост, абсолютно голым. Я же был молодой, приятный, не сказать чтобы некрасивый, — это я скромничаю, — а на фотографиях выходил переросток-гомункулус. И не то чтоб она меня уродовала, деформировала. Знакомые, разглядывая эти фотки, уверяли, что она мне польстила. Ну нет уж, я не был польщен. Вид на них у меня такой, будто меня схватили, зацапали при попытке к бегству, под крики: «Держи! Держи вора!» Выражение лица одновременно победное и молящее, как у мерзавца, который дрожит, что вот сейчас его обвинят в преступлении, и он знает, что его совершил, хоть помнит уже смутно, но готовит увертки и оправдания. Какая отчаянная, заискивающая у меня улыбка, прямо гнусный смешок. Она упражняла свою камеру на свежем, открытом лице, а получалась фотка на документ для старого, испитого мошенника. Разоблачение, да, слово найдено: разоблачение.

Прямо дар у нее был какой-то — разочарованный, разоблачающий взгляд. Только подумать про фотографии, какие она нащелкала в больнице, в конце, в начале конца, — еще проходила лечение, еще без посторонней помощи вставала с постели. Велела Клэр отыскать эту ее камеру, годами к ней не прикасалась. При мысли о том, что она вернется к старому своему наваждению, меня остро, хоть безотчетно, кольнуло недоброе предчувствие. И еще было неприятно, хоть опять-таки не могу объяснить почему, что Клэр, не мне она поручила эту камеру доставить, более того, предполагалось по умолчанию, что я ничего не должен знать. Зачем, для чего, кому это надо — все эти тайны, все эти штуки? Клэр недавно вернулась после своих занятий за границей — Франция, Нидерланды, Воблен, все такое, — ужаснулась, увидев мать в этом состоянии, и, конечно, накинулась на меня — зачем раньше ее не вызвал. Не стал ей объяснять, что это Анна была против. Тоже странно, всегда были водой не разольешь, эта парочка. Ревновал ли я? Да, немножко, в общем, даже не то чтоб немножко, если честно. Прекрасно отдаю себе отчет в том, чего ожидал, чего ожидаю от дочери, отдаю себе отчет и в эгоизме, в раздутости моих ожиданий.

Много требуется от отпрыска-дилетанта. Она добьется того, чего не добился я, станет великим ученым, если я тут имею хоть какое-то право голоса, ну а я имею. Мать ей оставила кой-какие деньги, но недостаточно. Я же большой жирный гусь, но с золотыми яйцами у меня туговато.

И я ведь случайно застукал Клэр, когда тащила из дому эту камеру. Она-то хотела пройти мимо, так легко, так небрежно, да только небрежность и легкость — не по ее части. Нельзя опять же сказать, что она знала, зачем нужна вся эта таинственность, — нет, не знала, так же как я. Анна вообще простейшие вещи любила делать втихую, исподтишка — долгое влияние папаши, я думаю, их лихого житья-бытья. И что-то в ней было детское. То есть капризная была, скрытная, терпеть не могла ни малейшего вмешательства в свои дела, ни малейших возражений. Я могу говорить, я знаю. В общем, наверно, мы оба с ней были дети, и оба единственные. Смешно звучит. То есть я хочу сказать, мы оба были единственными детьми. Тоже смешно звучит. Может, складывалось впечатление, что я был против ее посягательств на искусство, если это щелканье затвором можно назвать искусством? Да нет же, я вообще плевал на ее фотографии, так что никак она не могла

меня заподозрить в том, что стану отнимать у нее аппарат. Да, тут прямо голову сломаешь.

Так или иначе, дня через два после того, как я застукал Клэр с этим аппаратом, вызывают меня в больницу и грозно оповещают, что моя супруга фотографирует других пациенток и поступили жалобы. Я краснел за Анну, стоя перед главной врачихой, чувствовал себя как школьник, вызванный к директору за чужие грехи. Вроде бы Анна блуждала по палатам, босая, в больничном добела застиранном халате, катя за собой капельницу, и, выискав кого-нибудь из товарищей по несчастью, кто больше изуродован, покалечен, останавливалась со своей капельницей у постели, вынимала лейку и щелкала, щелкала, пока кто-то из персонала ее не застукал и не погнал восвояси.

— А тебе сказали, кто жаловался? — хмуро спросила она. — Не пациенты, всего-навсего родственники, а что они понимают?

Заставила меня отнести эти пленки на проявку к ее другу Сержу. Друг Серж, когда-то давным-давно, возможно, больше чем друг, — дюжий малый с хромотой и гривой черных, блестящих волос, которые он изящно скидывает со лба обеими грубыми, большими ладонями. У него студия на

самом верху высокого, узкого старинного дома из тех, что стоят на Шейд-стрит, у реки. Делает снимки для модного бизнеса, спит со своими моделями. Выдает себя за беженца, уж не знаю откуда, от его пришепетывающего акцента девицы, говорят, без ума. Фамилией не пользуется, да и Серж, насколько я понимаю, всего-навсего nom-d'appareil[15]. Знали мы таких, мы с Анной, в наши старые дни, еще совсем-совсем тогда новые дни. Теперь просто не постигаю, как я мог его выносить; хуже нет — любоваться на пошлость, которой ты окружен, ну, когда-то был окружен.

Что-то, видимо, есть во мне такое, что дико смешит Сержа. Он держит наготове поток несмешных шуточек — такой предлог, не сомневаюсь, смеяться, но чтоб не получалось, что надо мной. Я пришел за проявленными фотографиями, он пустился на поиски по живописному беспорядку студии — не удивлюсь, если он нарочно этот беспорядок организует, как витрину, довольно ловко лавируя на своих парадоксально стройных ногах, несмотря на отчаянный крен при каждом втором шаге. Потягивал кофе из как будто бездонной кружки, меня оглядывал через

---

[15] Сноски: 15
Деловой псевдоним *(франц.)*.

плечо. Этот кофе — тоже торговая марка, наряду с шевелюрой, хромотой, белыми толстовками, которые он обожает. «Как прелестная Анни?» Глянул на меня и расхохотался. Он всегда называл ее Анни, может, это старинная любовная кличка такая — ах, лучше не думать. Я ему не стал говорить про ее болезнь — с какой стати? Он рылся в хаосе на огромном столе, который использует для работы. Кислый дух проявителя из темной комнаты ел мне глаза и ноздри. *Анни без перемен*, — он проворковал про себя, с фьоритурой, пустив по ноздрям гнусавый смешок. В глазах мелькнуло: бросаюсь к нему, хватаю, волоку к окну, вниз головой швыряю на мостовую. Он торжествующе хрюкнул, вытащил пухлый, из оберточной бумаги, конверт, я за ним потянулся, он его придержал и весело, оценивающе меня оглядел, склонив набок голову. «Эти ее работы — да, вещь», — взвесил конверт на одной руке, другой легонько помахивая в своей манере, которую перенял не то у поляков, не то у чехов. Через слуховое окно над нами сноп летнего солнца упал прямо на стол и белым огнем поджег разбросанные куски фотобумаги. Серж покачал головой, сложил губы сердечком, беззвучно присвистнул: «Да, вещь!»

Анна жадно потянулась с больничной койки,

по-детски растопырила пальцы, без единого слова выхватила у меня этот конверт. В палате было жарко и сыро, у нее на лбу и над верхней губой серо поблескивал пот. Волосы снова начали отрастать, но с ленцой, будто знали, что ненадолго понадобятся; росли патлами, жидкими, темными, сальными на вид, как вылизанная кошачья шерсть. Я присел к ней на постель, смотрел, как она хищно взрывает конверт ногтями. И что такое в этих больничных палатах, чем они так обольщают, несмотря на все, что случается в них? Не в пример гостиничным номерам. Гостиничные номера, даже самые шикарные, — анонимны; там ничто не питает любви к постояльцу, ни постель, ни охлаждаемый бар, ни даже пресс для брюк, скромно вытянувшийся у стены по стойке смирно. Несмотря на все старания архитекторов, дизайнеров, менеджмента, гостиничные номера хотят, чтоб ты поскорее смылся; больничные же палаты, наоборот, без ничьих без усилий взывают к тебе, чтоб остался, чтоб хотел остаться и был бы доволен. Так утешно напоминают о детской эти стены под жирной масляной краской, линолеум, крохотный в углу умывальничек, а под ним на жердочке полотенце, и эти кровати, само собой, с колесиками, рычажками, похожие

на усовершенствованные коечки для новорожденных, — лежи себе, спи, за тобой приглядят, тебя обиходят, и ты никогда, никогда не умрешь. Может, снять бы такую комнату, такую палату то есть, и работать в ней, даже жить. Все удобства. По утрам — веселенькая побудка, с железной регулярностью подается еда, кровать чисто, туго застлана, как длинный такой белый конверт, и вся медицина под боком — на всякий пожарный. Да, мне б тут было хорошо, в такой белой келье, зарешеченное окно, нет, зачем зарешеченное, при чем тут, эка меня повело, мое окно смотрело бы вниз, на город, на дымовые трубы, запруженные шоссе, ссутуленные дома, на крошечные, без конца шныряющие фигурки.

Анна разложила фотографии по постели, жадно разглядывала, и у нее горели глаза — эти глаза тогда уже были огромные, торчали из черепа. Первая неожиданность — она использовала цветную пленку, а всегда предпочитала ведь черно-белую. Ну и потом — сами фотографии. Как будто снятые в полевом госпитале во время войны, в травмопункте побежденного, оставленного города. У старика нога ампутирована по колено, блестящий обрубок пересечен грубым швом, прообразом застежки-молнии. У тучной

пожилой женщины отнята грудь, и на месте ее отсутствия все сморщено, вспухло — как пустая, зияющая глазница. Грудастая, улыбчивая мать в кружевной рубашке демонстрирует младенца-гидроцефала с взглядом вспугнутой выдры. Снятые крупным планом артритные пальцы старухи — в узлах и шишках, как корешки имбиря. Мальчик с язвой на щеке, сложной, как мандала[16], ухмыляется в камеру, поднимает кулаки, наглым, победным жестом выставляет оба больших пальца, хамски высовывает толстый язык. И было еще содержимое жестяного ведра, какие-то ошметки, жилы темного мяса — из кухни отбросы, из операционной?

Больше всего поражало меня в этих людях то, с какой спокойной улыбчивостью они демонстрировали свои раны, швы, свои гнойники. Отдельно запомнился на первый взгляд как бы формалистический этюд: острые тени, пластиково-розовое, красное, глянцево-серое — это снизу, почти из-под постели, снята косматая старуха, задравшая сине-жилистые, дряблые ноги, раскорячившая колени, показывая нечто — выпадающую матку, что ли. Вся композиция

---

[16] Сноски: 16
Буддийский шар, прообраз бытия.

поражает тонкостью, тщательностью разработки — прямо фронтиспис пророческой книги Блейка. Центральное пространство — опрокинутый треугольник, отграниченный по бокам задранными ногами старухи, а сверху белым подолом рубахи, — как пустой участок пергамента в ожидании огненной надписи, которая, видимо, возвестит пародийное рождение того розового, бурого, что уже лезет между ног. Медузья голова старухи легким смещением перспективы как бы отрезана, выдвинута вперед и опущена на уровень коленей, аккуратный же обрубок шеи помещен на подол, образующий основание опрокинутого треугольника. Несмотря на свое положение, лицо совершенно спокойно, даже, кажется, чуть улыбается с веселым укором, с некоторым удовлетворением, что ли, и, да, определенно, с гордостью. Вспомнилось: как-то шли мы с Анной по улице, когда уже у нее выпали все волосы, и на тротуаре напротив она заприметила женщину, тоже лысую. Не знаю, видела ли Анна, что я перехватил тот взгляд, каким они обменялись, будто невидящий, но острый, хитрый, заговорщический взгляд. За весь тот год, пока она болела, никогда я не был, по-моему, так отдален от нее, как тогда, оттесненный из женского сооб-

щества страждущих.

— Ну? — спросила она наконец, не отрывая глаз от снимков, даже не глянув на меня. — Как твое мнение?

Мое мнение ей было глубоко безразлично. Она уже далеко ушла от меня, от всех моих мнений.

— Ты Клэр показывала?

Сам не знаю, и почему это первым делом пришло в голову?

Она пропустила мой вопрос мимо ушей, а может, она не слушала. Где-то в коридоре жужжал звонок как бы озвученной слабой, неотвязчивой болью.

— Это мое досье, — она сказала. — Мой обвинительный акт.

— Обвинительный? — в смутном ужасе беспомощно переспросил я. — В чем?

Она пожала плечами.

— А-а, во всем, — сказала мягко. — Во всем.

Хлоя, ее жестокость. Тот берег. Наше плаванье в темноте. Ее сандалька, посеянная той ночью у входа в танцзал, — туфелька Золушки. Все прошло. Все пропало. Все равно. Устал, устал и надрался. Все равно.

А у нас была буря. Всю ночь штормило, и потом

еще долго утром, диво дивное, ничего подобного по силе и длительности не припомню в этих мягких широтах. Прямо-таки наслаждался, сидя на своей помпезной постели, как на катафалке, если это уместное слово, комната ходуном ходила, небо ярилось, ухало, громыхало, ломалось. Наконец-то, думалось, наконец-то стихия взбунтовалась до такой степени, что соответствует пучине внутри у меня! Я себя чувствовал преображенным, чувствовал, что вагнеровским полубогом воссел на грозную тучу и дирижирую гулко-мощными струнами, небесно-бряцающими кимвалами. В этом состоянии взвинченной эйфории, разогретый парами бренди и молнией, я в новом, потрескивающем свете взглянул на свое положение. То есть на свое положение в целом. Я всегда был уверен, всем разумным доводам вопреки, что пусть нескоро, когда-нибудь, но настанет миг, когда с вечной репетицией, каковую являет собой моя жизнь, с ляпами, огрехами, промахами, будет покончено и начнется иная драма, к которой с такой серьезностью постоянно готовлюсь. Обычное заблуждение, знаю, всем присущее заблуждение. Но вчера ночью, под всю эту ярость Вальгаллы, вдруг подумалось: уж не накатывает ли миг, когда придется выйти на

сцену, что называется, — *приступить.* Не знаю, как именно он будет выглядеть, мой драматический скачок в самую гущу действия, и что будет твориться на сцене. Однако предвкушаю крутой подъем, апогей. Это я не о посмертном преображении, отнюдь. Не допускаю возможности загробной жизни, ни божества, способного нам ее предоставить. Учитывая, какой Он устроил мир, было бы прямо невежливо по отношению к Богу верить в Него. Нет, то, чего дожидаюсь, — миг земного выражения. То-то и оно, вот именно, вот: когда удастся выразиться, до конца. Преподнестись как заключительная благородная речь. Одним словом, сказаться. Не в том ли всегда была моя цель, не в том ли у всех у нас тайная цель — скинуть с себя плоть, полностью преобразиться в бесстрастный дымчатый дух? Гром, треск, грохот, даже стены трясутся.

Кстати: эта кровать, моя кровать. Мисс Вавасур уверяет, что она всегда тут была. Грейсы, отец и мать, — значит, здесь они спали, на этой самой кровати? Вот ведь мысль, прямо не знаю, как от нее отвязаться. Хватит, не думать, не надо, так-то оно лучше — спокойней, во всяком случае.

Еще с одной неделей разделались. К концу сезона — как оно бежит, время, земля летит очертя

голову к последнему резкому сгибу года. Невзирая на застоявшееся тепло, полковник ощущает близость зимы. Стал что-то неважно себя чувствовать, почки, так он выражается, застудил. Говорю, что это была одна из болезней моей матери, *собственно, одна из любимейших*, — не прибавляю я, — но он смотрит на меня как-то странно, может, думает, что над ним потешаюсь, — может, и правильно думает. Ну как можно застудить почки? Мама не больше полковника вдавалась в подробности, и даже Медицинский словарь Блэка на сей счет молчит. Может, полковнику хочется подсунуть мне некое объяснение тому, что он шаркает днем и ночью в сортир, взамен более серьезной причины, которую я подозреваю. «Нет, я не в лучшем виде, — он говорит, — и это факт». Взял манеру являться к столу в кашне. Уныло ковыряет еду, малейшее поползновение на веселость встречает томным, страдающим взором в сопровождении слабого вздоха, переходящего в стон. Я еще не описал его дивно-хроматический нос? Он меняет оттенки — в ответ на продвижение дня и малейшие перемены погоды — от блекло-лилового, через бордо, до густого, царственного пурпура. Вдруг подумалось, не rhinophyma ли это, не знаменитый ли нос пьяницы по доктору

Томсону? Мисс Вавасур не слишком верит в его болезни, мне подмигивает у него за спиной. Он, по-моему, из кожи вон лезет в попытках снискать ее милость. В ярко-желтом жилете всегда педантически расстегнута нижняя пуговка, острые концы раздвинуты над аккуратным брюшком, и весь он сосредоточен, насторожен, как вот самец какой-нибудь птицы в экзотическом оперении — павлин, фазан, — важно вышагивает поодаль, пылая взором, прикидываясь равнодушным, покуда невзрачная самочка преспокойно выклевывает из песка червяков. Мисс В. отметает его тяжеловесно-робкие ухаживанья с раздражением, в то же время слегка смущаясь. По обиженным взглядам, какие он ей кидает, заключаю, что прежде она давала ему повод для надежды, но все было тотчас перечеркнуто, как только я заявился и мог стать свидетелем ее слабости, и теперь она сама на себя злится и вовсю старается меня убедить, что если что-то там он и принял за поощрение, так простую учтивость хозяйки.

Часто сам не знаю, куда девать время, и вот взялся составлять распорядок типичного дня полковника. Встает он рано, страдает бессонницей, и выразительным молчанием, поджатием губ, пожиманием плеч дает нам понять, что его пре-

следуют такие кошмарные картины сражений, какие и под наркозом не дали б уснуть, хоть я сильно подозреваю, что пищу для мучительных воспоминаний он вкушал не в далеких колониях, а где поближе, на колдобинных проселочных дорогах Саут-Арма, скажем. Завтракает он один, за столиком в углу у камелька на кухне — нет, уголка не припомню, камелька тем более, — ибо, как он неустанно торжественно возглашает, одиночество есть наилучшая предпосылка для *важнейшей трапезы дня.* Мисс Вавасур рада ему не мешать и в сардоническом молчании подает ему бекон, кровяную колбасу и яйца. Он держит собственный набор пряностей, бутылочки без этикеток с бурой, красной, зеленой жижей, которую подбавляет к еде, священнодействуя, как алхимик. И он сам готовит какую-то пасту не пасту, нечто цвета хаки, куда входят анчоусы, карри, бездна перца и бог знает что еще; пахнет почему-то псиной. «Отлично прочищает мешок», — говорит. Я не сразу допер, что мешок, который он так часто поминает, но только не в присутствии мисс Вавасур, — это желудок и окрестности. Он всегда горячо озабочен состоянием мешка.

После завтрака — утренний моцион, в любую

погоду по Станционной, дальше по Скальной мимо Берегового Кафе и обратно вкруговую, в обход домиков на маяке, мимо Перла, где он останавливается, покупает утреннюю газету и упаковку крепчайших мятных лепешек, которые сосет день-деньской, так что весь дом провонял их смутным, тошнотворным запахом. Ходит он бодрой трусцой, которую, конечно, хочет выдать за военную поступь, хоть в первое же утро, увидев его отдаляющуюся спину, я даже вздрогнул, заметив, что при каждом шаге он выкидывает левую ногу, в точности как, бывало, мой давно покойный отец. Первые недели две после моего приезда он все еще приносил из этих походов какой-нибудь привет для мисс Вавасур, ничего такого слюнявого, нет, ветку красноватых листьев, зеленый прутик, все, что можно преподнести просто как предмет садоводческого интереса, и все это без комментариев помещал на столе в прихожей рядом с садовыми перчатками мисс Вавасур и могучей связкой ключей. А теперь возвращается с пустыми руками, если не считать газеты и мятных лепешек. А все мой приезд; мой приезд положил конец церемониалу обхаживания.

Газета поглощает остаток утра, он ее читает

от корки до корки, ума набирается, ничего не пропустит. Сидит в салоне у камина, на котором спотыкливо, по-стариковски тикают часы, на получасе, на двух четвертях сперва замрут, потом разрешаются хилым сиротским треньканьем, зато на самом часе в отместку хранят молчанье. У него свое кресло, своя стеклянная пепельница, своя подставка для газеты. Видит ли он медный луч, падающий сквозь оцинкованные окна эркера, пучок засушенных, синих, как море, и нежно-бурых гортензий на решетке камина, где даже и теперь еще нет нужды разводить первый предзимний огонь? Видит ли, что мир, о каком он читает в газете, уже не его мир? Может, теперь все усилья у него, как и у меня, уходят на то, чтоб не видеть? Я поймал его, он украдкой перекрестился, когда, зародившись в деревянной церкви на Береговой, раскатился до нас звон к вечерне.

Днем мы с полковником должны сами кормиться, поскольку на время от двенадцати до трех мисс Вавасур удаляется к себе — спать, читать, работать над мемуарами, ничему бы не удивился. Полковник — такое жвачное. Сидит на кухне, в жилете, в древней вязаной безрукавке, пережевывает неумело сооруженный сэндвич — кусок сыра, ломоть холодного мяса, зажатый

между двумя здоровенными кусищами хлеба, сдобренными его снадобьем или мазком свирепейшего кетчупа, а то и тем и другим, если надо взбодриться, — ведет словесную пристрелку, так ловкий полководец выискивает клин в обороне противника. Темы нейтральные исключительно: погода, назначенный матч, скачки — а сам уверяет, что не азартный. Несмотря на экивоки, цель его очевидна: он боится вечеров, этих пустынных часов, как я боюсь бессонных ночей. Он никак не может меня раскусить, не может понять, зачем на самом деле я здесь, раз могу быть где угодно, была бы охота, — так ему кажется. Зачем, если можешь позволить себе теплый юг — «Солнце лучший лекарь от всех горестей и болезней», — считает полковник, — приезжать горевать в «Кедры»? Я ему не докладывал про то, как здесь жил, про Грейсов, всякое такое. Да, собственно, и много ли это бы прояснило. Я встаю. «Работа», — объявляю торжественно, и он мне кидает отчаянный взгляд. Даже мое уклончивое общество лучше, чем его комната, его радио.

Вскользь упоминаю о Клэр и встречаю самый бурный отклик. У него тоже дочь, замужем, две малышки. Вот-вот приедут его навестить, дочь с зятем, он инженер, и девочки: семь лет и три

годика. Чувствую, что не миновать фотографий, и, естественно, извлекается из заднего кармана бумажник и демонстрируются фотографии, молодая особа с брюзгливым дубленым лицом, ничуть не похожая на полковника, и нарядная девочка, явно, увы, похожая. Зять, осклабленный на пляже с младшей на руках, как ни странно, хорош собой, южный тип, широкие плечи, напомаженная челка, глаза с поволокой — и как этой мышке мисс Бланден удалось оторвать такого мужика? Живут же люди. Вдруг чувствую, что с меня хватит, не могу, надоели — дочь полковника, внучки, зять; спешно возвращаю фотографии, трясу головой. «Ах, прошу прощенья, прошу прощенья», — бормочет полковник и смущенно отхаркивается. Думает, что разговор о семье всколыхнул во мне грустные мысли, но это не то, не совсем то. Я теперь могу принимать мир только малыми, тщательно выверенными дозами, такой гомеопатический курс прохожу, хоть не совсем понимаю, что в данном случае предполагается вылечить. Может, заново учусь жить среди живых. Практикуюсь, одним словом. Да нет, опять же не то. Быть здесь — вот именно что способ нигде не быть.

Мисс Вавасур, во всем прочем нас так прилежно обхаживающая, небрежна, чтоб не сказать

бесцеремонна, по части не только обеда, но трапез вообще, а на ужин в «Кедрах» и вовсе иной раз подается прямо немыслимый корм. Что угодно может явиться на столе, и является. Сегодня, к примеру, нам дали селедку от завтрака, плюс яйца всмятку, плюс вареную капусту. Полковник, фыркая, демонстративно вертел и вертел бутылочки со своими приправами, как жонглер. На подобные молчаливые протесты у мисс Вавасур один неизменный ответ: аристократическая рассеянность на грани презрения. После селедки были груши из банки в какой-то серой теплой крупитчатой массе, и если меня не подводят воспоминания детства, по-моему, это была манная каша. Манная каша, о Господи. Пока мы одолевали эту дрянь в нарушаемом лишь звяканьем приборов молчании, вдруг мне представился я сам, большая черная обезьяна, нечто, ссутулившееся за столом, да какое там нечто — ничто, пустое место, дыра в пространстве, ощутимое отсутствие, зримая тьма. Ужасно странно. Я увидел всю сцену как бы изнутри себя, столовую в тусклом свете двух торшеров, уродский стол на мутовчатых ножках, мисс Вавасур с отвлеченным взором, склоненного над тарелкой полковника, при жевании обнажающего край

вставной челюсти, и себя — большой смутный образ, никто его не увидит во время съемки, проступит только после проявки дагерротипа. Нет, ей-богу, я превращаюсь в собственный призрак.

После ужина мисс Вавасур убирает со стола — всего несколько легких, широких пассов, слишком она хороша для этой черной работы, — мы же с полковником в смутной тоске прислушиваемся к своим организмам, преодолевающим нанесенное им оскорбление. Затем мисс Вавасур величаво направляется в телевизионную. Это унылая, тускло освещенная комната, где всегда промозгло и сыро, как в подземелье. Мебель тоже имеет отчасти подземный вид, будто ее годами сплавляли сюда сверху, из более приятного места. Обитая ситцем тахта растерянно воздевает ручки, поникнув подушками. Есть еще пледом накрытое кресло и трехногий столик, на котором томится в пыли растение — по-моему, настоящий фикус, каких я с незапамятных пор не видывал, если видывал вообще. Пианино мисс Вавасур жмется к задней стене, с опущенной крышкой, как бы поджав губы в обиде на вульгарного соперника напротив, мощного, свинцово-серого, на которого хозяйка поглядывает с гордостью, приправленной легкой опаской. По этому телику мы

смотрим комические шоу, предпочитая те, что потоньше, двадцати-тридцатилетней давности. Сидим и молчим, публика в записи хохочет за нас. Цветной отсвет экрана скачет по нашим лицам. Мы смотрим внимательно, нетребовательно, как дети. Сегодня показывали какое-то место в Африке, долину Серенгети, что ли, огромное стадо слонов. Вот удивительные созданья, связующее звено, конечно, с тем давним временем, когда о нас не было и помину, когда бегемоты, еще даже огромней их, рычали и ярились по топям и пущам. Такие печальные с виду, и все же, кажется, тайком посмеиваются над нами. Бредут в линеечку, каждый изящно обвивает кончиком хобота смешной поросячий хвостик братца, идущего впереди. Малыши, поволосатей родителей, радостно топают между ножищами матерей. Если б кто вздумал искать среди наших собратий, во всяком случае сухопутных, наибольшую нам противоположность, я бы ему порекомендовал остановиться на слонах. И как это мы позволили им не вымереть? При виде этих грустных, умных глазок так и тянет схватиться за обрез. Да, влепить пулю — прям туда или в эти огромные, глупо хлопающие уши. Да, да, изничтожить всех этих тварей, рубить, рубить дерево жизни, пока

останется только пень, а потом и к нему ласково так подойти с косарем. Все, все прикончить.

Ты, сука, блядь, как ты могла уйти, меня так вот бросить, я ж барахтаюсь в собственной мерзости, и никого нет, никто меня не спасет от меня самого. *Как ты могла.*

Кстати, насчет телевизионной, вдруг сообразил, даже непонятно, как сразу не стукнуло, — это ж так очевидно, что она мне напоминает, что весь дом напоминает, если на то пошло, и ведь потому-то, наверно, в первую очередь потому-то я сюда и кинулся прятаться, — меблирашки, в которых мы жили с матерью, вынуждены были жить все мои школьные годы. Когда отец нас бросил, пришлось ей искать работу, чтоб прокормиться вдвоем, чтоб платить за мое ученье, какое-никакое ученье. Мы подались в большой город, она решила, что там у нее, конечно, будет больше возможностей. Она ничего не умела, рано бросила школу, только чуть поработала продавщицей перед тем, как встретила отца, за него вышла, ушла от родителей и была тем не менее убеждена, что где-то такое ждет ее место, идеальное место, для нее, именно для нее предназначенное, только она никак его не может найти, ужасно, ужасно. Мы метались, мотались

из одной меблирашки в другую, переселялись на новое место всегда как будто зимой, в моросящий воскресный вечер. Все они были одинаковы, эти комнаты, по крайней мере такими их сберегла моя память. Кресло с поломанной ручкой, на полу конопатый линолеум, унылая газовая печка в углу, провонявшем жаркой-варкой предшественников. Сортир внизу, в коридоре, щербатая деревянная крышка, длинный ржавый следок с тылу унитаза, на цепи при бачке оборвана шишечка. В коридоре воняло, очень похоже на запах в тесной глуби моих ладоней, куда я дышал, дышал, пытаясь себе представить, каково это — задохнуться. Поверхность стола, за которым мы ели, была липкая на ощупь, как ее ни скоблила мать. После чая она убирала посуду, расстилала на столе под тусклой шестидесятисвечовой луковкой Evening Mail, водила булавкой по объявлениям о вакансиях, каждое отчеркивала, злобно шипела под нос: *Требуется опыт… необходимы рекомендации… с университетским образованием…* «Тьфу ты!» А потом — засаленная колода карт, спички, разделенные на две равные порции, переполненная окурками пепельница, мне какао, ей шерри. Играли в пьяницу, в дурака, в джин-рамми. Потом раздвигался диван,

туго натягивалась кислая простыня, к потолку прикреплялось каким-то образом одеяло, отгораживая ее ночную укромность. Я лежал и, бессильно бесясь, слушал, как она вздыхает, храпит, как пукает со свистом. Чуть ли не каждую ночь, по-моему, я просыпался и слышал, что она плачет, костяшками пальцев зажав рот, уткнув лицо в подушку. Отец редко упоминался, разве что запаздывал с ежемесячным пособием. Она даже имя его не могла выговорить; называла: Его Сиятельство, Синяя Борода, а когда особенно ее припрет или когда переберет шерри — даже Старый Пердун. Была уверена, что он — *там* — как сыр в масле катается, но злостно отказывается нам помогать, как он обязан, как мы заслуживаем. Конверты с чеками — и ни единого письма, только открытки на Рождество, на мой день рожденья, — надписанные тесным, каллиграфическим почерком, которым всегда щеголял отец, несли на себе штемпеля с такими названьями, которые — даже теперь, когда бываю *там*, их встречаю на указателях по автотрассам, и его трудом отчасти проложенным, — во мне будят причудливую смесь чувств, неотвязную грусть, злость, дальнее эхо злости, и непонятную тягу куда-то, ностальгию по местам, где отродясь не

бывал. Уотфорд. Ковентри. Сток. Тоже небось знавал занюханные меблирашки, линолеум на полу, газовые плитки, вонь в коридоре. А потом пришло последнее письмо, от чужой женщины — по фамилии Чуж, Морин Чуж! — объявляющее, что *я должна вам сообщить очень печальную новость.* Мать рыдала в голос, от злости не менее, чем от горя. «И кто она такая, эта Морин?» Единственный в синюю линеечку тетрадный листок дрожал у нее в руке. «Черт бы его побрал, — шипела она сквозь стиснутые зубы, — черт бы его побрал, эту сволочь!» Вдруг я его себе представил, как раз на даче, в густом желтом свете керосиновой лампы он, спиной к открытой двери, смотрит на меня странно, чуть ли не улыбаясь, и пятно света блестит у него на лбу, и за ним, за дверью стоит бездонный, бархатный мрак летней ночи.

Напоследок, когда все каналы впадают в невыносимую мрачность ночных программ, телик выключается твердой рукой, и полковнику выдается настой из травок, для него приготовляемый лично мисс Вавасур.

Он мне говорит, что эту дрянь терпеть не может, — «Смотрите, ни слова!» — но не решается отказаться. Мисс Вавасур стоит над ним, пока он пьет. Уверяет, что это ему поможет заснуть; он

мрачно убежден в обратном, но не протестует и обреченно пьет свою чашу до дна. Как-то я затащил его в бар «На молу», вместе выпить на ночь, это была ошибка. Мое общество его раздражало — тут я молчу, оно меня самого раздражает, — он ерзал над своим стаканчиком портера, пыхтел трубкой, все норовил засучить обшлаг, тишком глянуть себе на часы. Несколько завсегдатаев на нас пялились, мы скоро ушли и, бредя обратно, молчали до самых «Кедров», а в громадном октябрьском небе над нами текли звезды и бежала между пасмами туч луна. По большей части я с вечера, чтоб заснуть, чтоб попытаться заснуть, выдуваю рюмок по пять коньяка из большущей бутыли «Наполеона», которую держу у себя в комнате. Наверно, можно бы предложить глоточек полковнику, да нет, не стоит. Мысль о ночных беседах с полковником за жизнь и на смежные темы совершенно не греет. Ночь длинна, а меня ненадолго хватит.

Я уже говорил про свое пьянство? Я пью как рыба. Нет, не рыба, при чем тут, рыбы не пьют, это у них дыханье такое, это они так дышат. Я пью, как только что овдовевший тип со скромными дарованьями, еще более скромными амбициями, убеленный годами, неуверенный и заблудший,

нуждающийся в утешении, в краткой передышке пьяного забытья. Я б наркотики принимал, будь они у меня, но у меня нет, и где ж ты их тут достанешь. Едва ли Баллилесс может похвастаться наркоторговцем. Может, Пекер Девро мог бы меня выручить. Этот Пекер страшноватый мужик — широченные плечи, грудь колесом, дубленая грубая рожа, загребущие лапы гориллы. Огромная физиономия вся рябая — из-за каких-то давних угрей, от оспы? — и в каждой рытвине пятнышко черной лоснистой грязи. Когда-то он был моряком, ходил в дальние края, говорят, убил человека. У него сад, там он и живет в бесколесном фургоне с крошечной, тощей женой. Торгует яблоками и — подпольно — мутным, зеленоватым самогоном из падалицы, по субботам дурманящим местных парней. И с чего я о нем распространяюсь? Накой он мне — Пекер Девро? Кстати, здесь эту фамилию произносят на свой манер, говорят — Деврекс, как пишется, ну вот, и не могу ведь остановиться. Ишь как разогналась праздная мысль.

Сегодня наш день был скрашен, если такое выражение уместно, визитом Пышки, подруги мисс Вавасур, которая составила нам компанию за воскресным обедом. Я наткнулся на нее, войдя

в салон, она перетекала за пределы камышового кресла в эркере, как бы бессильно поникнув, слегка задыхаясь. Место, где она сидела, густо залил дымчатый свет, так что сначала я с трудом ее разглядел, хоть, надо признаться, по части зримости она может поспорить с покойной королевой Тонги. Пышка — необъятная особа неопределенного возраста. Твидовое платье цвета мешковины туго стягивал пояс, и вид был такой, будто ее до отказа накачали в груди и бедрах, а короткие крепкие ножки пробкового цвета торчали вперед из-под низу двумя гигантскими втулками. Нежное, с тонкими чертами личико рдеет в большой, серо-рыхлой голове, как чудом сохранившиеся окаменелые останки девочки, которой она была когда-то, давным-давно. Пепельно-серебристые волосы по старинке расчесаны на прямой пробор и стянуты сзади в пучок. Она мне улыбнулась, кивнула приветственно, расколыхав пудреные подбородки. Не зная, кто это, я решил, что приехала новая постоялица — у мисс Вавасур в мертвый сезон полно пустых комнат. Кое-как она поднялась на ноги под облегченный стон, исторгнутый камышовым креслом. Да, объемы и впрямь поразительные. Я подумал, что сломайся вдруг пряжка, слети пояс — она вздулась бы безупреч-

ным шаром, и голова бы сидела, как крупная вишня, ну да, — на пышке. По взгляду, какой она мне подарила — сочувствие, живой интерес, — я понял, что ей сообщили, кто я, поведали о моем состоянии. Она назвала свою фамилию, важную, с дефисом, и я моментально ее забыл. Рука оказалась маленькая, мягкая, влажно-теплая, как у ребенка. Явился полковник Бланден с воскресными газетами под мышкой, глянул на Пышку, нахмурился. Когда он так вот хмурится, темнеют желтоватые белки, челюсть делается выдвинутая, квадратная, как у фокса.

Среди более или менее мучительных последствий утраты есть у меня и дурацкое ощущение самозванства. После смерти Анны меня стали обхаживать, стали со мною нянчиться, я сделался объектом особенного внимания. Знающие о моем горе умолкали, когда я входил, и мне ничего другого не оставалось, как задумчиво, важно молчать в ответ, что противно и неудобно. Началось оно, это особенное внимание, уже на кладбище, а то и пораньше. С какой нежностью на меня смотрели через разверстую могилу, как чутко, но твердо хватали под руки, когда кончилась церемония, будто я того гляди сам без памяти рухну в яму. Я даже, по-моему, улавливал некий

расчет в том жаре, с каким иные дамы меня обнимали, бесконечно жали мне руку, заглядывали в глаза и трясли головами, соболезнуя молча, с тем окаменело-обмирающим выражением, какое принимали трагические актрисы старой школы, глядя под занавес на героя, шатко таскающего по сцене труп героини. Я чувствовал, что надо бы встать, поднять руку, крикнуть всем этим людям, что не стою такого почитания, да, почитания, иначе не скажешь, — я же только статист, играл весьма скромную роль, само умирание проделала Анна. За обедом Пышка упорно на меня изливала нежное участие, сдерживаемое благоговение, но я, как ни пыжился, не мог выдавить из своего голоса ничего, кроме бодрых, легкомысленных нот. Мисс Вавасур, я видел, эти сопли все больше раздражали, она не раз пыталась облегчить и развеять застольную атмосферу, но тщетно. От полковника тоже было мало проку, хоть он честно старался, кидая в этот неумолимый поток сочувствия то прогноз погоды, то последние новости из газет — все мигом выталкивалось. Где уж полковнику с Пышкой тягаться. Демонстрируя тусклую челюсть в зловещих ужимках, ухмылках, он сильно смахивал на гиену, корчащуюся и приседающую под безжалостным натиском

гиппопотама.

Пышка живет в городе, в квартире над магазином, в обстоятельствах, она твердо дала мне понять, никак не достойных ее, отпрыска одефисенного дворянства. Она мне напоминает крепкую старую деву былых времен, ведущую, скажем, хозяйство у брата, холостого клирика, вдового помещика. Пока она журчала, я воображал ее: вот, важно сидит в бомбазине (кстати, а что это — бомбазин?), на гранитном крыльце перед просторным парадным, и с флангов косится на нее челядь; видел: вот, Немезида лис, в алом охотничьем фрачке, в котелке с вуалью, верхом, и под ней проседает, гарцуя, большой вороной скакун; а вот на огромной кухне — плита, скобленый стол, развешанные окорока — наставляет верную миссис Харч, как разделать говядину для ежегодного парадного ужина его преподобия в честь Крещенья. Так я невинно тешился, не замечая ссоры Пышки с мисс Вавасур, пока она не разгорелась вовсю, и понятия не имел, с чего у них пошло и о чем речь. Два обычно сдержанных красных пятна на скулах мисс Вавасур рдели прямо свирепо, Пышка же как бы еще больше вздувалась под пневматическим воздействием разогретого гнева и смотрела через стол на подру-

гу с неподвижной жабьей улыбкой, отрывисто, сипло дыша. Перекидываясь мстительно-вежливыми репликами, они наскакивали друг на друга, как плохо прилаженная пара карусельных лошадок. *Нет, я просто в толк не возьму, как ты можешь утверждать… Значит, прикажешь понять так, что?.. Дело в том, что я не… Дело в том, что ты вот именно… Ну, это уж… Да ничего же подобного… Извини, но тут ты немножечко ошибаешься!* Полковник с растущей опаской дико переводил взгляд с одной на другую, мелькая белками, будто смотрел теннисный матч, начинавшийся тихо-мирно, но вдруг обернувшийся страшной расправой.

Я думал, что мисс Вавасур легко одержит победу в этой битве, — ничуть не бывало. Уверен, она пускала в ход не все свое оружие, часть оставляла за пазухой. Что-то, я видел, ее сдерживало, а Пышка, отлично зная это обстоятельство, на него налегала могучим весом к вящей своей выгоде. Казалось, в пылу спора они абсолютно забыли про нас с полковником, но постепенно до меня доходило, что битва эта, хотя бы отчасти, затеяна ради меня, чтоб меня впечатлить, перетянуть на свою сторону. Я это замечал по тому, как то и дело в меня постреливали карие глазки Пышки,

а мисс Вавасур, наоборот, ни разу не глянула в мою сторону. Пышка, я уже понял, была куда умней и хитрей, чем я поначалу подумал. Есть предрассудок, что если человек толстый, так он уж тебе и глуп. Данная толстуха, между прочим, явно меня раскусила, разглядела, уже видела всего насквозь, до потрохов, как облупленного. Подумаешь, ну и что такого она могла разглядеть? В жизни никогда не смущался, что живу захребетником при богатой, ну, не бедной жене. Да, был рожден дилетантом, только средств не хватало, пока не встретился с Анной. И не сильно меня колышет происхождение этих денег, сперва Чарли Вайсса денег, теперь моих, и плевал я с высокой горы на то, сколько, какого тяжелого машиностроения купил и продал Чарли Вайсс, чтоб сколотить капитал. И вообще — что такое деньги? Ничто, в сущности, когда, конечно, они у тебя есть. Так чего же мне ерзать под умным, тишком испытующим взглядом Пышки?

А, да брось ты, Макс, брось. Чего уж тут, отрицать бесполезно, всегда стеснялся своего происхождения, до сих пор от одного косого взгляда, снисходительного словца таких, как эта Пышка, у меня все трясется внутри от злости и жгучей обиды. С самого начала стремился улучшить свое

положение. И Хлоя-то зачем мне понадобилась, как не для того, чтоб подобраться к социальному уровню ее семьи, пусть даже совсем ненадолго, пусть отдаленно. Да, нелегкое было мероприятие — карабкаться на этот Олимп. Сидя вот так с Пышкой, вспомнил другой воскресный обед в «Кедрах», полвека назад, и что-то оборвалось под ложечкой. Кто меня пригласил? Не Хлоя, нет, конечно. Может, мамаша, когда я еще ходил в ее воздыхателях и ей весело было глядеть, как сижу у нее за столом, проглотив язык. Как я волновался, я буквально изнемогал от ужаса. На столе были вещи, каких я в жизни не видывал, непонятного вида графинчики, фарфоровые соусники, серебряная подставка для разделочного ножа, разделочная вилка с костяным черенком, и на нем еще такой рычажок, который при нажатии выдвигался. Когда подавали новое блюдо, я высматривал, за какие приборы возьмутся другие, прежде чем взяться за свой. Кто-то мне передавал мятный соус; я не знал, что с ним делают — с мятным соусом! Мистер Грейс, свирепо жуя, время от времени бросал мне веселый взгляд. Как мы там живем-поживаем на даче, он интересовался. На чем стряпаем? На примусе, сообщил я. «Ха! —

крикнул он. — Примус inter pares!»[17] Ох, как он хохотал, и Майлз хохотал тоже, и даже у Роз дрогнули губы, хоть никто кроме него, конечно, не знал, в чем тут соль, и Хлоя дулась, злилась — не на них, что смеются, на меня, что так оплошал.

Анна не понимала моей чувствительности на этот счет, где уж ей, продукту неопределенного класса. Мою мать она находила дивной — ну, зажатой, ну, злопамятной, трудной, но все равно прелестной. Мать, надо ли говорить, на это теплое отношение не отвечала взаимностью. Они и виделись-то всего два-три раза, и выходила полная жуть, по-моему. Мама даже на свадьбе у нас не была — я не приглашал ее, надо признаться, — и умерла вскоре после, тогда же, когда и Чарли Вайсс приблизительно. «Как будто они нас освободили оба», — сказала Анна. С такой благостной версией я был не согласен, но спорить не стал. Потом уже, в хосписе, вдруг она завела разговор про мою мать, помню, совершенно без повода, я, во всяком случае, его не усмотрел; персонажи из далекого прошлого возвращаются под конец, требуют своего. Наутро после бури всё снаружи, в окне угловой палаты, было взъерошено,

---

[17] Сноски: 17
(Первый) среди равных *(лат.)*.

валко, косматый лужок засыпан преждевременным листопадом, деревья пошатывались, как с похмелья. На одном запястье у Анны была пластиковая бирка, на другом приспособление, на вид вроде часиков, с кнопкой, нажмешь — и отмеренная доза морфия поступает в уже вполне отравленную кровь. В первый раз, когда мы нанесли визит домой — дом: словцо как подножка, и я спотыкаюсь, — мать с ней почти ни словом не перемолвилась. Мама жила у канала, в темной, низкой квартирке, провонявшей хозяйскими кошками. Мы принесли ей беспошлинные сигареты, бутылочку шерри, она фыркнула, принимая дары. Сказала: надеется, что мы не рассчитываем у нее поселиться. Мы остановились в гостинице по соседству, где текла в ванной ржавая вода и у Анны сперли сумочку. Маму повели в зоопарк. Она смеялась над павианами, злобно намекнула, что кого-то они ей напоминают — меня, конечно. Один мастурбировал, с уморительно томным видом глядя через плечо. «Поганец», — припечатала мама и отвернулась.

Чай пили в кафе — там же, и рев слонов мешался с гулом воскресной толпы. Мама курила беспошлинные сигареты, демонстративно давя после двух-трех затяжек, чтоб я, значит, понимал,

что она думает о моем предложении мира.

— И чего она тебя все Макс да Макс? прошипела она, когда Анна отошла к стойке, купить ей булочку. — Какой ты ей Макс.

— Теперь уже Макс. Ты не читала разве вещи, я тебе посылал, вещи, которые я написал, там стояло мое имя?

— Почем же мне знать, я думала, это кто-то другой написал.

И — величаво, по-своему, повела плечом.

Умела выказать свой гнев даже позой, сидела на краешке стула, напрягши спину, сжимая сумочку у себя на коленях, и шляпка вроде бриоша с вуалеткой на тулье съехала набок на неприбранных седых кудельках. На подбородке тоже пробивался седой пушок. Она с отвращением огляделась. — Тьфу. Ну и местечко. Небось сплавить меня хотели сюда, и чтоб мартышки бананами потчевали.

Анна вернулась с булочкой. Мама презрительно глянула.

— Это еще зачем? Я не просила.

— Ну ма, — сказал я.

— А ты мне не ма́кай.

Но когда мы уходили, она всплакнула, отступя в отворенную дверь квартиры, заслоняя локтем

глаза, как злящийся на себя ребенок. Она умерла в ту же зиму, сидя на лавочке у канала, будним, не по сезону теплым вечером. Грудная жаба, никто не знал. Голуби еще суетились над крошками, которые она им побросала на тропку, оборванец присел рядом, предлагал глотнуть из бутылки в бумажном кульке, не замечая, что она умерла.

— Странно, — Анна сказала. — Вот ты тут, и вот тебя нет.

Вздохнула, глянула на деревья. Они ее завораживали, эти деревья, хотелось постоять под ними, слышать гул ветра в ветвях. Но не пришлось, не пришлось выйти, никогда, никогда. «Странно, вот — была тут, и…», — так она сказала.

Кто-то ко мне обращался. Пышка. Интересно, и долго я отсутствовал, бродил по комнате ужасов у себя в голове? Обед кончился, Пышка прощалась. Когда она улыбается, личико у нее делается еще меньше, съеживается, сморщивается вокруг пуговки носа. Я видел в окне, как собираются тучи, но непросохшее солнце низко на западе еще пялится из бледной прорехи в мутно-зеленом небе. На минуту представилось: сижу, ссутулясь, огромный, отвисла красная нижняя губа, громадные руки вяло протянуты по столу — гигантская горилла в клетке, сморенная транквилизатора-

ми. Бывает, и в последнее время все чаще, — вдруг мне кажется, что все, что знал, позабыл, вылетело, вылилось ливнем, и, парализованный ужасом, жду, надеюсь, что все еще вернется, но не уверен, отнюдь не уверен. Пышка собирала вещички, готовясь могучим рывком выволочить из-под стола необъятные ноги, подняться. Мисс Вавасур уже встала, витала над плечом подруги — большущим, как шар для боулинга, — мечтала, чтоб та поскорей убралась, старалась себя не выдать. Полковник стоял по другую сторону Пышки, изогнувшись и делая руками неясные пассы, как грузчик, примеряющийся к тяжелому, особенно неудобному предмету мебели.

— Ну вот! — сказала Пышка, постучала по столу костяшками, бодро оглядела сперва мисс Вавасур, потом полковника, и оба ринулись к ней, будто и впрямь собирались взять под локотки, поднять и установить.

Мы вышли в закатной медью тронутую осеннюю промозглость. Ветер охлестывал Станционную, макушки деревьев мотались, метали в небо мертвые листья. Истошно кричали грачи. Ну вот, почти разделались с этим годом. И с чего я взял, что взамен придет что-то новое, кроме чисел в календаре? Машина Пышки, маленькая, прыт-

кая, красная и веселая, как божья коровка, стояла на гравии. Она стонала, пока Пышка, пятясь, водружалась на водительское сиденье — сперва взволокла необъятный зад, потом подтащила ноги и, крякнув, рухнула на прикидывающуюся тигровой шкурой обивку. Полковник распахнул ворота, стоял посреди дороги и театрально взмахивал руками, направляя машину. Запахи выхлопов, моря, осенней садовой гнили. Мерзость запустения. Ничего я не знаю, ничего, обезьяна старая. Пышка весело нам гуднула, помахала, осклабясь через стекло, мисс Вавасур помахала в ответ, совсем не весело, машина кособоко прошуршала по дороге, по железнодорожному мосту и скрылась.

— Холодрыга, — полковник, потирая руки, ринулся в дом.

Мисс Вавасур вздохнула.

Ужина нам не полагалось после такого долгого, такого тяжелого обеда. Мисс В., я видел, все не могла успокоиться после перепалки с подругой. Полковник за ней поплелся на кухню, вымогая хотя бы чай, но она его отшила, и он поплелся к себе, к своему радио, к футбольному матчу. Я тоже ретировался, в эркер, со своей книжкой —

Белл[18] о Боннаре, скука смертная, — но читать не мог, отложил. Визит Пышки нарушил хрупкое равновесие нашего быта, что-то как бы беззвучно звенело в воздухе, будто щипнули тонкую, тугую струну и она все дрожит. Я сидел у эркерного окна и смотрел, как погасает день. Голые деревья через дорогу чернели в последних закатных вспышках, грачи хриплой стаей кружили, снижались, с распрями устраивались на ночлег. Я думал про Анну. Заставлял себя думать. Упражненье такое. Ножом во мне засела, а вот — начал забывать. Уже ее портрет, который держу в голове, протирается, отваливаются краски, сходит позолота. Вдруг дождусь, что холст начисто опустеет? Стало доходить, как мало знал ее, то есть как поверхностно знал, как плоско. Я себя за это не корю. Хоть, может, и надо бы. Слишком был ленив, невнимателен, слишком занят собой? Да, и то, и другое, и третье, но все равно, по-моему, за что ж тут корить — ну не знал, ну забываю? Не исключено, что вообще преувеличивал возможности знания. Я так мало знаю себя самого, куда уж других-то знать.

Нет, постойте, не то, не то. Тут я начал зави-

[18] Сноски: 18

Клайв Белл (1881–1946) — английский художественный критик, провозвестник модернизма в живописи.

раться, — разнообразия ради, скажете, ну да, ну да. Дело в том, что мы и не хотели друг друга знать. Больше скажу, мы именно что хотели не знать друг друга. Я уже где-то сообщал — некогда возвращаться, рыться, вот, стукнуло ни с того ни с сего, пока бьюсь тут над мыслью, — что в Анне я прежде всего нашел возможность осуществить фантазии о себе самом. Я не очень понимал, что я имел в виду, когда это сообщал, а теперь немного подумал — и вот вдруг понял. Понял? Ладно, постараюсь обмозговать, времени у меня навалом, они бесконечны, эти воскресные вечера.

С самого детства я хотел быть кем-то другим. Указание nosce te ipsum[19] песком скрипело на языке с первого раза, как мне его велел повторять за собой учитель. Я знал себя, слишком даже знал, и то, что я знал, мне не нравилось. Опять-таки объясняю. Мне не то не нравилось, чем я был, то есть мое истинное, неповторимое я — хоть, согласен, самое понятие истинного неповторимого я весьма условно, — но собрание воздействий, наклонностей, заемных идей, классовых бзиков, мне пожалованных взамен личности. Взамен, да. У меня никогда ее не было, личности, хотя бы

[19] Сноски: 19
Познай самого себя *(лат.)*.

как у других она есть, или они считают, что есть. Всегда я был типичное, внятное ничто, никто, а вот поди ж ты, страстно мечтал стать невнятным кем-то. Я знаю, что говорю. Анна, я с лету наметил, должна была стать средством моего превращения. Большим таким зеркалом в полный рост, в котором расправятся все мои искривленья. *Будь самим собой, ну чего ты?* — она говорила в начале нашего брака, — *будь*, заметьте, не *познай самого себя*, — и ведь из жалости говорила к моим нелепым потугам охватить неохватное. *Будь самим собой! К* сама небось думала: *Да будь ты, кем хочешь.* Такой мы с ней заключили пакт, что избавим друг друга от тяжкого груза: быть теми, кого в нас видят вокруг. Она, по крайней мере, меня от этого груза избавила, ну а я — что я для нее сделал? Может, не надо было ее замешивать в эту тягу к незнанию, может, это только я в нем нуждался?

И все же, и все же остается вопрос, и тут мне именно надо знать. Кто же мы такие, если не мы, ну кто? Ладно, оставим Анну. Кто я такой, если не я? Нам талдычат философы, что мы определяемся, обретаем нашу суть посредством других. Остается ли роза алой в кромешной тьме? В лесу на далекой планете, где ни единое ухо его не услышит,

хрустнет ли, падая, дерево? Я спрашиваю: кому было знать меня, как не Анне? Кому было знать Анну, кроме меня? Идиотские вопросы. Мы были счастливы с ней или не были несчастны, тоже далеко не всем удается; неужели этого мало? Бывали обиды, стрессы, да и как не бывать в таком союзе, как наш, если такие существуют. Крики, вопли, швырянье тарелок, изредка оплеуха, еще реже пинок. И был ведь этот Серж и иже с ним, и лучше умолчим о моих Сержессах, лучше умолчим. Но даже в самых ужасных ссорах мы просто отчаянно переигрывали, как Хлоя с Майлзом в этой своей борьбе. Кончались ссоры у нас тем, что мы хохотали, пусть горько хохотали, но все же и конфузились, слегка стыдились — не нашей пылкости, а ее отсутствия. Мы ссорились, чтобы чувствовать, чтобы чувствовать себя настоящими, а не вымученными существами, какими были. Каким был я.

Могли ли мы, мог ли я вести себя иначе? Мог ли я жить иначе? Идиотские вопросы. Конечно мог, да ведь не жил, и нечего спрашивать глупости. Вообще — где они, эти образцы подлинности, по которым я обязан выравнивать свое крученое *я?* На тех последних полотнах, в ванной, Боннар свою семидесятилетнюю Марту изображал тем

почти подростком, за какого ее принимал, когда только что встретил. Что ж с себя-то требовать большей точности зрения, чем с великого трагического художника? Мы старались вовсю, мы с Анной. Прощали друг друга за все, чем мы не были. Что еще возьмешь с юдоли страданий и слез? *Чего уж ты так-то расстроился?* — она сказала. — *Я тоже тебя ненавидела, чуточку. Мы же люди были, человеки.* И все же не могу отвязаться от мысли, что что-то мы упустили, что-то я упустил, что-то такое я упустил, только не знаю что.

Сбился со следа. Все перемешалось. И зачем я себя извожу этими неразрешимыми выкрутасами, может, хватит с меня казуистики? Оставь ты себя в покое, Макс, оставь ты себя в покое.

Вошла мисс Вавасур, призраком между тенями сумерек. Осведомилась, не холодно ли мне, не затопить ли камин. Я спросил про Пышку, кто она такая, как они познакомились, — надо ж было что-то спросить. Она не сразу ответила, и то на вопрос, которого я не задавал.

— Ну, видите ли, — сказала она, — этот дом принадлежит родным Вивьен.

— Вивьен?

— Пышки.

— А-а.

Нагнулась к камину, кряхтя подняла засохшую ветку гортензии.

— А может, теперь все ей перешло, у нее же почти все перемерли.

Я ответил, что удивлен, считал, что дом принадлежит ей самой.

— Нет, — сказала она, хмуро оглядывая ломкие цветы у себя в руках, потом подняла глаза, чуть ли не шаловливо, даже высунула язык. — Я, можно сказать, пошла в качестве бесплатного приложения.

Из комнаты полковника глухо неслись восторги толпы, квохчущий захлеб комментатора, кто-то забил гол. В какой же они темнотище играют. Недолго и покалечиться.

— И вы так и не вышли замуж? спросил я.

Она бегло улыбнулась, опять потупилась.

Ах, нет. Так и не вышла. — Быстро глянула на меня, тут же отвела глаза. Пятна на скулах пылали. У меня Вивьен была. Пышка то есть.

— А-а, — снова сказал я. Что я мог сказать?

Теперь она там на пианино играет. Шуман, Kinderszenen[20]. Меня растравляет, что ли?

---

[20] Сноски: 20
Сцены детства *(нем.)*.

Странно, правда, как застревают в душе вроде бы незаметные вещи? За «Кедрами», там, где дом углом врезался в заросший лужок, под коленчатым водостоком стояла бочка, теперь, конечно, ее нет и в помине. Это был деревянный баррель, самый настоящий, большущий, клепки почернели от старости, обручи проржавели до железных кружев. Верх был чуть скошен и гладок так, что на ощупь почти не чувствовались стыки; она была отлично собрана по ладам, связана обручами, та бочка, только сам отсырелый край шершавился под рукой, был скорей даже бархатный, как султан камыша, только потверже, попрохладней, более влажный. Уж не знаю, сколько она вмещала ведер, а все равно стояла всегда полнехонькая, благодаря частым дождям в этих краях, даже летом, да, в частности летом. Я заглядывал внутрь, вода была черная, густая, как нефть. Бочка чуть накренилась, поверхность воды образовывала толстый эллипс, от каждого вздоха дрожавший и рассыпавшийся испуганной зыбью, когда проходил поезд. В этом запущенном углу сада из-за присутствия бочки был особенный, мягкий и влажный климат. Там процветали водоросли, крапива, щавель, вьюнок и много чего еще, названий не знаю, и там настаивался

зеленоватый свет, по утрам особенно странный. Вода в бочке была мягкая или жесткая, уж одно из двух, и считалась поэтому полезной для волос, для кожи головы, словом, не знаю. И там-то в одно рябое от солнца утро я увидел, как Роз моет голову и ей помогает миссис Грейс.

Память не любит движения, мы ей навязываем статичность, и, как большинство запомнившихся сцен, эта мне видится как такое панно. Роз стоит, нагнувшись вперед, руки уперты в колени, волосы висят длинным черно-глянцевым клином, и стекает мыльная пена. Она босиком, я вижу пальцы ног в высокой траве, и на ней тирольская, что ли, льняная блуза без рукавов, крик моды в то лето, просторная в поясе, тугая в плечах, и спереди вышит абстрактный узор, из красного с синим. Вырез зубчатый, глубокий, так что передо мной ясно мелькают висячие груди, маленькие, с острыми кончиками, как два волчка. Миссис Грейс, в синем атласном халате и хлипких синеньких туфельках, вынесла в сад неуместный дух будуара. Волосы у нее за ушами закреплены двумя черепаховыми зажимами, или заколками, как там они назывались. Она явно только с постели, и утренний свет разоблачает грубую лепку неприбранного лица. Позой она в

точности вторит вермеровской девушке с молочным кувшином, склонив голову к левому плечу, одну ладонь подставив под тяжелый поток волос, а другой наливая серебристую густую струю из облупленного эмалированного кувшина. Проплешина от воды, падающей на макушку Роз, скользит, дрожит, как лунное пятно на рукаве у Пьеро. Роз охает, стонет — «Ой! Ой! Ой!» — вода холодит ей кожу.

Бедная Рози. Ее имя во мне неотделимо от жалостного эпитета. Ей же было, ну, девятнадцать, ну, двадцать от силы. Скорей высокая, странно тоненькая, узкая в талии, долголягая, она была помечена вкрадчивой грацией вся — от бледного лба до узких, чуть распяленных стоп. Наверно, со злости кто-нибудь — Хлоя, скажем, — мог бы назвать эти черты резкими. Нос с грушевидными, фараонистыми ноздрями выдавался на переносице, до прозрачности натягивая тонкую кожу. Он чуточку смещен, этот нос, влево, и если смотреть на нее спереди, создается иллюзия, будто видишь сразу и фас и профиль, как на каком-то из мудреных портретов Пикассо. Дефект этот ее, впрочем, нисколько не портит, наоборот, даже придает лицу томности, так сказать. Когда считала, что никто за ней не шпионит — ах, какой

же я был шпион! — она круто склоняла голову, пряча глаза, уткнувшись слегка раздвоенным подбородком в плечо. И тогда казалась мадонной Дуччо[21], грустной, далекой, забывшейся в туманных мечтах о том, что сбудется с ней, чему в данном случае не дано было сбыться.

Из трех центральных фигур этого летнего, просоленного триптиха она, как ни странно, особенно отчетливо прорисована на стене моей памяти. Причина, по-моему, в том, что первые две фигуры, то есть Хлоя и ее мать, целиком созданы собственным моим творчеством, тогда как Роз выполнена другой, неизвестной рукой. Я все подхожу к ним вплоть, к обеим, то к матери, то к дочери приступлюсь, там мазок положу, там пролессирую деталь, и в результате такой работы рядом с холстом фокус расплывается, мутится, даже когда отступлю, оглядывая свое рукоделье. Но Роз, Роз — завершенный портрет, Роз готова. И вовсе не потому, что она для меня живей, больше значит, чем Хлоя с матерью, нет, конечно, просто мне легче ее рисовать. И, опять-таки, не потому, что она все еще тут, ибо версия, предстающая моим глазам, изменена почти до неузнаваемо-

[21] Сноски: 21

Дуччо ди Буонисенья (ок. 1255–1319) — основоположник сиенской школы итальянской живописи.

сти. Та, в лодочках, черных брючках, рубашке с малиновым отливом — естественно, были у нее разные другие наряды, но именно так она одета почти во всех моих воспоминаниях — позирует среди всякого хлама, случайного реквизита студии: унылые драпировки, пыльная соломенная шляпа с цветком на ленте, край замшелой стены, слаженной, не исключено, из картона, и высоко в углу амбровый проем, и густые тени таинственным образом перетекают в золотисто-белое свеченье пустого дня. Она меня не пронимала так, как Хлоя и миссис Грейс, нет, конечно, но что-то в ней было такое, что-то было, ночная чернота волос, припудренная белизна щек, которую ни самое ярое солнце, ни самый крепкий ветер с моря, кажется, не могли затемнить.

Она была, думаю, тем, что в старые времена, еще более старые, чем те, о каких речь, называлось — гувернантка. Однако и у гувернантки тоже есть своя скромная сфера власти, но бедная Рози была совершенно беспомощна перед близнецами и беспечностью их родителей. Для Хлои с Майлзом она была явный враг, мишень самых жестоких шуток, вечный объект издевательств и насмешек. В обращении с ней они перемежали две манеры. То ее не замечали так

упрямо, как будто она невидимка, а то вдруг, что она ни сделай, что ни скажи, любая мелочь подвергалась самому безжалостному расследованию, неотвязным расспросам. Они за ней ходили по дому, наступали на пятки, глаз с нее не спускали, следили за каждым жестом — ставит тарелку, подбирает книжку, отводит взгляд от зеркала — так, будто она делает что-то странное, неслыханное, чего они в жизни не видывали. Она на них не обращала внимания, пока могла терпеть, но в конце концов поворачивалась, красная как рак, вся тряслась и молила — ну пожалуйста, пожалуйста — ее оставить в покое, притом удерживая голос на истерическом шепоте, чтоб старшие Грейсы не слышали, как она сорвалась. Близнецам, естественно, только того и надо было, они с новой силой на нее напирали, жадно заглядывали в глаза, изображали недоумение, и Хлоя сыпала вопросами — а что было на тарелке? а книжка хорошая? и почему она в зеркало не хочет смотреться? — пока из глаз у нее не брызнут слезы, рот горестно не перекосится от бессильной ярости, и тогда эти двое в восторге несутся прочь, заливаясь хохотом, как бесенята.

Я разгадал тайну Роз как-то в субботу, придя в «Кедры» к Хлое. Когда я появился, Хлоя лезла

в машину, чтоб ехать в город с отцом. Я застыл у калитки. Мы условились пойти играть в теннис — как же она могла такое забыть? Выходит, могла. Я был ужален в самое сердце; если тебя так бросают в субботний пустой день, это невыносимо обидно. Майлз, открывавший калитку для отцовской машины, заметил мое отчаяние и осклабился, злой бесенок. Мистер Грейс на меня глянул в зеркальце, наклонился к Хлое, сказал ей что-то, и он тоже усмехался. Уже весь день усмехался вокруг, истекал всеобщим злорадством. Мистер Грейс смачно нажал на акселератор, машина громко дрогнула задом и рванула вперед по гравию, я вынужден был отскочить — мой отец с Карло Грейсом, вообще-то совершенно разные люди, обладали одинаковым, опасно игривым чувством юмора, — и Хлоя через боковое окно, затуманенная стеклом, глянула на меня с изумлением, как будто только сейчас обнаружила, что я здесь стою, и кто ее знает, возможно, в самом деле только сейчас обнаружила. Я ей помахал рукой со всей беззаботностью, на какую был способен, а она улыбнулась, опустила уголки рта, изображая печаль, и, в качестве извинения, так пожала плечами, что они вздернулись до самых ушей. Машина затормозила, впуская Майлза,

Хлоя прижала лицо к стеклу, что-то беззвучно выговорила и подняла левую руку в странно-ритуальном жесте, может, это она благословляла меня, и — что мне оставалось — я тоже пожал плечами, опять помахал, и ее уже уносило облако выхлопов, и, как бы отрубленная, голова Майлза злорадно скалилась в заднем окне.

У дома был покинутый вид. Я прошел мимо входа и дальше, туда, где деревья диагонально помечали конец сада. Дальше тянулось железнодорожное полотно, устланное зубчатым синим сланцем, всегда вонючее от сажи и газа. Чересчур тесно стоявшие деревья были хилые, гнутые и махали спутанными верхними ветками, как в диком загуле воздетое множество рук. Что это было? Не дубы — смоковницы, может. Не соображая, что делаю, я уже лез на дерево посередке. Совсем на меня не похоже, я был совсем не лихой, совсем не храброго десятка, и я боялся высоты, как поныне боюсь. Но я лез, вверх, вверх, рука, нога, рука, нога, с сука на сук. Взбираться было волшебно легко, хотя листья возмущенно свистели вокруг, ветки мне влепляли пощечины, и скоро я подобрался так близко к макушке, как только можно было. Там я бесстрашно замер — храбрый моряк, оседлавший такелаж, и земля

далеко-далеко внизу легонько качалась палубой, и мутно-пепельное небо было так низко, так близко, что кажется: протяни руку и тронь. Бриз на такой высоте был тугим воздушным потоком, и пахнул он берегом, дымом, землей, зверьем. Я видел городские крыши на горизонте, а еще дальше, еще выше, как мираж, крохотный кораблик влип неподвижно в бледный мазок моря. На сук села птичка, изумленно меня оглядела и поскорей улетела прочь, оскорбленно чирикнув. Я уже забыл о забывчивости Хлои, я торжествовал, ликовал, я был так высоко, так далеко от всего, и я не замечал стоявшую подо мною Роз, пока не услышал, как она плачет.

Она стояла под деревом рядом с тем, на котором я угнездился, задрав плечи, прижав локти к бокам, будто сама себя удерживала стоймя. Дрожащими пальцами она тискала мятый платок, но все до того напоминало сцену из пошлого романа, — как она стояла, рыдая под вздохи предвечернего воздуха, — что сперва я подумал, что в руках у нее не платок, а любовное скомканное письмо. Как же смешно она выглядела, сведенная к неправильному диску — плечи, голова, пробор, серовато-белый, как комок платка у нее в руках, — и, резко обернувшись на звук шагов сзади,

она шатнулась, как кегля, задетая проскользнувшим шаром. Миссис Грейс шла по тропе, проторенной под бельевой веревкой, свесив голову, скрестив руки на расплющенной груди, пальцами стискивая оба плеча. Шла босиком, в шортах, в белой мужней рубашке, которая была лестно ей широка. Остановилась чуть поодаль от Роз и минутку стояла молча, слегка поворачиваясь из стороны в сторону, не отпуская пальцами плеч, будто и она тоже, как Роз, сама себя удерживала стоймя и, сама же ребенок, себя укачивала.

— Роз, — сказала она игриво, подлизываясь, — ох, ну Роз, в чем дело?

Роз, решительно отворотившая лицо к далеким полям, фыркнула без улыбки.

— В чем дело? — прокричала она, и голос взлетел на последнем слове и захлебнулся. — В чем дело?

Она грозно высморкалась в край скомканного платка и заключила этот процесс душераздирающим вздохом. Даже под таким углом я видел, что миссис Грейс улыбается и кусает губу. За мной, вдалеке, с уханьем прокатил свист. Дневной поезд из города, тускло-черный паровоз и полдюжины зеленых, деревянных вагончиков, ползя по полям огромной, сумасшедшей игрушкой, вы-

пуская луковичные звенья густого белого дыма. Миссис Грейс беззвучно шагнула к Роз, пальцем дотронулась до ее локтя, но Роз, как ошпаренная, отдернула руку. Налетел ветер, облепил тело миссис Грейс рубашкой, разоблачил жирный очерк грудей. «Ах, да ладно тебе, Рози», — снова проворковала она и на сей раз ухитрилась протиснуть руку под локоть Роз, потянула, подергала, повернула-таки, наконец, лицом к себе, как та ни сопротивлялась, и обе пошли под деревьями. Роз шла, спотыкаясь, и она говорила, говорила, а миссис Грейс, кажется, вообще не сказала ни слова; по наклону плеч, по припадающей походке я подозревал, что она подавляет смех. Из заикающихся, дрожащих слов Роз я разобрал только «любовь», и «глупость», и «мистер Грейс», а из ответов миссис Грейс только возглас «Карло?» с недоверчивым присвистом. А поезд был уже тут, и дерево дрожало у меня под коленками; мимо прокатывал паровоз, я заглянул в кабину, и как ясно сверкнул на меня белок глаза из-под лоснистого, от сажи черного лба. Когда я снова на них посмотрел, обе уже остановились, стояли лицом к лицу в высокой траве, миссис Грейс улыбалась, положив руку на плечо Роз, у той покраснели ноздри, и она метила обоими кулаками себе в

заплаканные глаза, но тут слепящее облако паровозного дыма охлестнуло меня по лицу, а когда прояснело, обе уже удалялись по тропке к дому.

Вот такие дела. Роз без памяти втюрилась в отца доверенных ей детей. Да, старая история, — правда, не уверен, что она так уж была стара для меня в тогдашнем моем возрасте. Что я думал тогда, что чувствовал? До сих пор не отмеркло в душе: мятый платочек в руках у Роз, синее кружево зачаточных варикорзных вен на сильных голых икрах миссис Грейс. И, конечно, дым паровоза, который с лязгом остановился на станции и стоял, кипя, сопя, плюясь кипятком из своих восхитительно сложных недр, рвался опять в дорогу. Что такое живые существа по сравненью с незыблемой силой рукотворных вещей?

Роз и миссис Грейс ушли, я слез с дерева, что оказалось куда более трудным делом, чем на него взобраться, тихо прошел мимо немого, ослепшего дома и побрел по Станционной в оловянном свете пустого часа. Поезд уже рванул со станции, он был теперь в другом месте, в совсем другом месте.

Конечно, я, не теряя времени, доложил о своем открытии Хлое. Она к нему отнеслась совсем не так, как мне бы казалось естественным. Прав-

да, сначала была вроде потрясена, но сразу же напустила на себя скептический вид и даже, кажется, разозлилась — то есть на меня, за то, что ей растрепал. Было ужасно неприятно. Я-то рассчитывал, что в ответ на мой рассказ о том, что происходило под деревом, она радостно хмыкнет, и тогда, в свою очередь, я смогу обратить всю эту историю в шутку, а тут приходилось ее рассматривать в куда более мрачном свете. В мрачном свете, представьте. Но почему в шутку? Потому что смех в детстве снимает напряжение, укрощает страхи? Роз, хоть чуть не вдвое нас старше, все-таки была по ту же сторону пропасти, нас отделявшей от мира больших. Хватало с меня раздумий о том, что тайком вытворяют они, настоящие взрослые, но представлять себе за такими занятиями Роз с человеком в годах Карло Грейса — это пузо, эти туго набитые шорты, эта шерсть на груди с блестками седины — было прямо непереносимо для моих столь тонких, столь еще неопытных чувств. Интересно, и она ему объяснилась в любви? И он ей ответил взаимностью? Образ бледной Роз, склоненной в хищных объятьях этого сатира, в равной мере подстегивал и пугал мою фантазию. И как же миссис Грейс? До чего спокойно она ответила на сбивчивую испо-

ведь Роз, до чего легко и даже шутливо! Почему она ей не выцарапала глаза своими блестящими, кроваво-красными когтями?

Ну а сами любовники! Меня прямо поражало, как спокойно, с какой наглостью они скрывают свои отношения. Я догадался, что сама беззаботность Карло Грейса явно свидетельствует о преступных намерениях. Кто, как не гнусный соблазнитель, может так хохотать, так шутить, выставлять подбородок, хрустко расчесывать ногтями седеющую бородку? Тот факт, что на людях он оказывал не больше вниманья Роз, чем любому, случайно попавшемуся ему на глаза, был только лишнее доказательство лицемерия и коварства. Роз всего-навсего ему подавала газету, он ее принимал, но мой-то жадно-бдительный взгляд прозревал эти непристойные шашни. За ее тихой кротостью в его присутствии я угадывал скрытность разгульной монахини, теперь, когда я разоблачил ее тайный позор, а где-то, убегая за край сознанья, мерцали бледные формы Роз, грубо совокупленные с Грейсом, я слышал его приглушенный рев, ее задушенный стон гнусного восторга.

Но что заставило ее признаться, да еще кому — супруге возлюбленного? И каково было

ей, бедной Рози, в первый раз увидеть формулу, которую Майлз мелом нацарапал на калитке и на дорожке за ней — Р В + К Г = любовь, — а рядом схематическое изображение женского торса, два кружочка с точками, два изгиба в качестве бедер, а внизу две скобки и внутри них короткий вертикальный надрез? Наверно, она покраснела, ох, сгорела, наверно, со стыда. Она решила, что это Хлоя, что это не я ее выследил. Но странно, власть Хлои над Роз нисколько не укрепилась, все, кажется, вышло совсем даже наоборот. Взгляд гувернантки теперь по-новому, посверкивая сталью, падал на девочку, а девочка, удивляя, даже поражая меня, явно терялась под этим взглядом, никогда раньше такого не было! Как вспомню их так вот, одна посверкивает, другая робеет, не могу удержаться от умозаключения, что все, что случилось в тот день странного прилива, было каким-то образом связано с разоблачением тайной страсти Рози. В конце концов, каждый автор мелодрам падок на эффектный заключительный штрих, чем я-то хуже?

Прилив затопил берег, до самых дюн, как будто море вылилось из берегов. Мы молча смотрели на ровное наступление воды, сидя рядом втроем, Хлоя, Майлз и я, спиной к серым облезлым дос-

кам брошенной сторожки возле первой метки на гольфовом поле. Мы плавали, но перестали, нам надоел этот неотвязный прилив без волн, его спокойный, зловещий напор. Небо было мутно-белесое сплошь, и плоский бледно-золотой диск недвижно влеплен посредине. Кричали, метались чайки. Воздух застыл. Но нет, я же ясно помню, перед каждой пробившейся сквозь песок тростинкой был такой тоненький обруч и, значит, был ветер, был, ну хотя бы бриз. А может, это в другой день, совсем в другой день я заметил те обручи на песке. Хлоя была в купальнике, на плечи накинута белая кофточка. Волосы потемнели от воды, облепили голову. В голом молочном свете ее лицо как будто почти лишилось черт, и они с Майлзом были похожи, как два профиля на двух монетах. Пониже нас, во впадине дюн, Роз лежала навзничь на махровом полотенце, запрокинув руки за голову, — она как будто спала. Пенный край моря чуть ли не лизал ей пятки. Хлоя поглядела на нее, усмехнулась про себя. Сказала: «Так ее, глядишь, и смоет».

Это Майлз открыл дверь сторожки, вертел, вертел замок, пока дужка не вывернулась, не осталась у него в руке. Внутри была единственная комната, пустая, и воняло старой мочой. Вдоль

одной стены была деревянная скамья, над нею окошко, рама целая, но давно выбито стекло. Хлоя встала на эту скамью коленками, локти уперла в подоконник. Я сидел рядом по одну сторону, Майлз по другую. И почему что-то египетское мне брезжит в том, как мы сидим, Хлоя на коленках, смотрит в окно, мы с Майлзом рядом и смотрим в комнату? Потому, что я составляю Книгу Мертвых? Она была — Сфинкс, мы — два сидячих жреца. И — тишина, только кричат чайки.

— Хоть бы она утонула, — сказала Хлоя в окно и остренько, по-своему, хихикнула. — Утонет, надеюсь, — хи-хи — я ее ненавижу.

Последние слова. Ранним-рано, перед рассветом, Анна пришла в сознание. Не могу сказать точно — то ли я не спал, то ли мне снилось, что не сплю. Ночи, когда я корячился в кресле рядом с ее постелью, были забиты странно-прозаическими галлюцинациями, полуснами, в которых я ей стряпал еду, или о ней разговаривал с кем-то, кого раньше в глаза не видывал, или просто мы ходили с ней вместе по тусклым, невнятным улицам, то есть ходил я, а она рядом лежала в коме, все же ухитряясь передвигаться, за мной поспевать, скользить по тяжелому воздуху к своему Тростниковому Полю. И вот вдруг она

проснулась и, широко открыв глаза, меня разглядывала в подземном мерцании ночника, с настороженностью, со страхом. По-моему, она меня не узнала. Я застыл, меня парализовал ужас, какой накатывает при нежданной встрече один на один с диким зверем в лесу. Сердце колотилось жидкими, замедленными толчками, как бы плюхаясь через бесконечный ряд равных препятствий. Анна кашлянула, и звук был такой, будто гремели кости. Я знал: это конец. Я чувствовал, что не готов, не гожусь, мне хотелось кричать, звать на помощь. Няня, няня, сюда, скорей, моя жена от меня уходит! Мыслей не было, в голове рушилась кирпичная кладка. Но Анна все смотрела на меня, так же испуганно, все с тем же сомненьем. Где-то в коридоре кто-то невидимый что-то уронил с громким стуком, она услышала и, кажется, успокоилась. Может, подумала, что это я ей что-то сказал, решила, что поняла, потому что она кивнула — но раздраженно, в смысле: «Нет, ну что ты, какие глупости!» Протянула руку, сжала мне кисть. Та обезьянья хватка — все не отпускает меня. Я рванулся из кресла, бухнулся на колени возле постели, как верующий с обожаньем и ужасом повергается перед призраком ниц. Анна стискивала мое запястье. Свободную руку

я положил ей на лоб и чувствовал, кажется, как бьется разум, лихорадочно силясь выработать свою последнюю мысль. Разве в жизни когда-нибудь я смотрел на нее так, с такой отчаянной сосредоточенностью, как сейчас на нее смотрел? Как будто этот взгляд может ее удержать, как будто она останется здесь, пока не смигну. Она дышала тихо, с усильем, как останавливающийся бегун, которому еще бежать и бежать. От нее шел чуть заметный, сухой запах, вроде завялых цветов. Я назвал ее по имени, но она только прикрыла глаза, недовольно, будто мне следовало знать, что уже она не Анна, уже она никто, потом снова открыла, глянула на меня, еще жестче, но теперь уже не с удивлением, а с повелительной строгостью, требовательно — чтоб я выслушал, постарался понять то, что сейчас будет сказано. Выпустила мою руку, повозила пальцами по постели, что-то нашаривая. Я взял ее за руку. У основания большого пальца метался пульс. Я что-то сказал, полную чушь — «Не покидай меня» или «Побудь со мной», — но опять она качнула головой, так раздраженно, за руку притянула меня к себе. «Там часы останавливают, — шепнула почти неслышно. — Я время остановила». И кивнула, торжественно, важно, и улыбнулась, да,

клянусь, да, это была улыбка.

Если бы, стоя на коленках рядом со мной, Хлоя не повела быстро, ловко плечом, скидывая кофточку, я бы не сообразил, я бы не осмелился положить руку ей на бедро. Кожа у нее была холодная, вся в мурашках, но я чувствовал, как под моей ладонью горячо стучит кровь. Она совсем не замечала этой моей ладони, продолжала смотреть, уж не знаю, на что она там смотрела — на всю эту воду, наверно, на медленный, неодолимый потоп, — и, осторожно, я скользнул рукой кверху, кверху, пока пальцы не запнулись о тугой край купальника. Кофточка, оказавшаяся у меня на коленях, сползла и рухнула на пол, что-то напомнив — оброненный букет, падающую птицу. И ничего бы мне больше не надо — просто сидеть, держать руку у ней на задке, уперев взгляд в свиль на деревянной стене, пока сердце отбивает синкопы, если бы едва заметным толчком она не переместила по скамейке колено, подставив свой пах моим изумленным пальцам. Простеганный в шагу, взбухший морской водой, купальник меня обжег. Едва мои пальцы под него поднырнули, она сжала ноги, защемив мою руку. По ней как прошел электрический ток, она вывернулась, высвободилась от меня, я решил, что это всё, но

тут я ошибся. Она быстро, на четвереньках, сползла со скамьи, села рядом со мной, подняла лицо, подставила мне холодные губы и жаркий рот. Бретельки купальника были завязаны сзади, на шее, и, не отнимая у меня своего рта, она подняла руку, развязала узел, по пояс выкрутилась из мокрой ткани. Целуя ее, одним глазом я смотрел на то, что мне открывалось у нее за ухом, — перелив позвонков, узкий задок, расщелинка цвета чистого стального ножа. Она схватила мою руку, прижала к чуть заметному взгорку с твердым холодным соском. По другую сторону от нее Майлз сидел, раскинув ноги, запрокинув голову к деревянной стене, закрыв глаза. Хлоя слепо нашарила его руку, вверх ладошкой лежавшую на скамье, стиснула, рот у нее затвердел, и я не услышал, скорей почувствовал тоненький стон у нее в горле.

Я не слышал, как скрипнула дверь, только отметил, что изменилось освещение в сторожке. Хлоя застыла, отвернула лицо, что-то быстро сказала, слово какое-то, я не расслышал. В дверях стояла Роз. В купальном костюме, все равно почему-то в лодочках, и длинные, белые, тощие ноги были у нее от этого еще длинней, еще белей, еще тоньше. Что-то она мне напомнила,

сам не знаю: левая рука протянута по двери, правая на дверном косяке, и как будто два сильных ветра ее держат стоймя, один выдувает из сторожки, другой, снаружи, вжимает вовнутрь. Хлоя схватила бретельки, завязала сзади узлом, опять она тихо-тихо проговорила то слово, слово, которого я не расслышал, — просто Роз? ругательство? — быстро, как лисица, поднырнула под руку Роз, юркнула в дверь, за порог, вон. «Сейчас же вернитесь, мисс! — Роз кричала надтреснутым голосом. — Вернитесь немедленно!» Глянула на меня, скорей соболезнуя, мотнула головой, отвернулась и зашагала, как страус, на своих этих белых ходулях. Майлз, все еще развалясь на скамье, хрипло хохотнул. Я на него уставился. Почудилось, что он сказал что-то.

Все, что было дальше, вижу как бы в миниатюре, вроде камеи, вроде закругленного такого пейзажа, вид сверху, по периферии которого старые мастера любили выписывать стадии драмы в деталях тончайших, тающих в блеске золота и лазури, неба и волн. Я еще посидел на скамейке, чтоб отдышаться, Майлз на меня смотрел, ждал, что я стану делать. Я вышел наружу. Хлоя и Роз стояли на кружочке песка между дюнами и краем воды и кричали, кричали, готовые друг на дружку

кинуться. Что кричали? Я не разобрал. Вот Хлоя отбежала, мелко-мелко закружилась, бешено топоча ногами, взбивая песок. Топтала гувернанткино полотенце. Фантазия, сам понимаю, но так и вижу: мелкие волны жадно лижут ей пятки. Наконец она в последний раз вскрикнула, как-то чудно рубанула рукой воздух, повернулась, подступила к самой воде, остановилась, бросилась на песок и села, вжавшись грудью в коленки, их стиснув руками, подняв лицо к горизонту. Роз, подбочась, сверлила ее взглядом, но скоро поняла, что ничего не добьется, отвернулась и начала собирать вещички, полотенце, книгу, купальную шапочку, все бросая на согнутый локоть, как рыбачка в корзину. У себя за спиной я услышал Майлза, еще секунда, и он мелькнул мимо, он будто не бежал — катился. Добежал до Хлои, сел с ней рядом, обнял, голова к голове. Роз замерла, с сомнением поглядела на то, как они сидят, сплетясь, ко всему миру спиной. Потом, спокойно, они встали, и вошли в море, как по маслу вошли в тихую воду, и легли на нее, и поплыли, медленно, и две головы запрыгали на белой зыби, дальше, дальше.

Мы смотрели на них, мы с Роз, она прижимала к груди свои вещи, а я просто стоял, не знаю, о

чем я думал, не помню, чтоб вообще я думал. Бывают минуты, когда мыслей нет совсем в голове. Они были уже далеко, стали двумя бледными пятнышками между бледным небом и еще более бледным морем, и вдруг одно пятнышко пропало. И потом все очень быстро кончилось, то есть то, что было видно нам. Всплеск, немного белой воды, белей, чем вокруг, и — ничего, равнодушно сомкнулся мир.

Кто-то кричал, мы с Роз оглянулись, увидели, как крупный краснолицый господин с седым бобриком к нам идет по дюнам, поспешает, комически высоко задирая ноги над зыбучим песком. В желтой рубашке, в штанах цвета хаки, в двуцветных туфлях, он размахивал клюшкой для гольфа. Туфли я, кажется, выдумал. Зато была перчатка, точно была, на правой руке, в которой он держал клюшку, такая бежевая, без пальцев, с круглыми дырочками, уж не знаю, почему она так меня зацепила. Он кричал, кричал, что надо бежать за полицией. И, кажется, сердился ужасно, и размахивал клюшкой, как зулусский воин дубинкой. Зулус — дубинкой? Вру, ладно, пусть будет копьем. Его кэдди тем временем, тощий безвозрастный недоросток в наглухо застегнутом твидовом пиджаке и твидовой кепке, издали

наблюдал всю картину с сардоническим видом, небрежно пиная мешок с клюшками. Потом, откуда ни возьмись, как материализовался из воздуха, мускулистый юноша в тесных синих плавках разбежался, без предисловий бросился в воду и поплыл быстро, ловко рубя воду. Роз ходила взад-вперед вдоль края воды, три шажка туда, стоп, поворот, три шажка сюда, стоп, поворот, как бедная рехнувшаяся Ариадна на острове Наксос[22], и все прижимала к груди книгу, шапочку, полотенце. Скоро неудачный спаситель вышел из плоской воды, двинулся к нам трудной раскачкой пловца, тряся головой и отфыркиваясь. Бесполезно, он повторял, бесполезно. Роз вскрикнула, всхлипнула как-то и быстро-быстро затрясла головой, и тот, с клюшкой, внимательно на нее посмотрел. А потом они все уменьшаются, уменьшаются, потому что я бегу, я пытаюсь бежать, вдоль берега, в сторону Станционной, к «Кедрам». Почему я не срезал путь, не прошел по территории Гольфовой на дорогу, где куда бы легче было идти? Но я не хотел, чтоб было легче идти. Я не хотел приходить туда, куда шел. И

[22] Сноски: 22

Ариадна, дочь Критского царя Миноса, спасла Тезея из лабиринта, тот обещал на ней жениться, но на пути в свои родные Афины бросил ее, сонную, на острове Наксос.

теперь еще часто, во сне, снова я там, пробираюсь через песок, и он все неодолимей, упрямей, и ноги у меня тоже будто огромные, из зыбучей, сыпучей массы. Что я чувствовал? Сильней всего, кажется, ужас, то есть самому себе ужасался, — знал двух живых людей, и вот они вдруг, непостижимо, стали мертвыми. Но понимал ли я, что они умерли? У меня в душе они держались в огромном светлом пространстве, стоя, сплетясь руками, широко открыв глаза, твердо глядя перед собой в бескрайние глуби света.

Вот и зеленая калитка, машина на гравии, распахнутая, как водится, дверь. Все в доме тихо-спокойно. Я перемещался по комнатам, сам как из воздуха — летающий дух, Ариэль, свободный, потерянный. Миссис Грейс я нашел в гостиной. Она повернулась ко мне, приложила ладонь ко рту, и молочный свет падал на нее со спины. Все было тихо, только в окне сонно жужжало лето. Потом вошел Карло Грейс со словами: «Проклятая штуковина, кажется…», и он тоже смолк, и так мы и стояли, так и молчали, все трое.

Ну, каково?

Ночь, и все так тихо, как будто нет никого, даже меня нет. Я и моря не слышу, а в другие ночи оно грохочет, рычит, то близкое, резкое, то смутное,

дальнее. Не хочу быть один, не хочу. Почему ты не вернулась, хоть призраком? Разве так уж я много прошу? И к чему это молчанье, день за днем, ночь за нескончаемой ночью? Оно как туман, твое это молчанье. Сперва только нависало над горизонтом, и вдруг мы в него вошли, ощупью, спотыкаясь, вцепившись друг в друга. А все в тот день началось, после визита к доктору Тодду, когда мы вышли из клиники на безлюдную парковку, и машины выстроились, скользкие, как дельфины, и ни звука, ни знака, и куда подевалась та девушка на высоких, цокающих каблуках. Потом наш дом онемел от ужаса, и сразу пошли немые коридоры больниц и притихшие палаты, приемные, и была та палата, последняя. Вышли свой призрак. Мучай меня, если хочешь. Греми цепями, разбрасывай по полу погребальные пелены, рыдай, как банши, делай что хочешь. Пусть будет призрак.

Где моя бутылка? Дайте мне мою большую детскую бутылочку. Мою соску.

Мисс Вавасур мне бросает жалостный взгляд. Я отвожу глаза. Она знает, какие вопросы хочу ей задать, умираю хочу задать с самого приезда, но не хватает храбрости. Сегодня утром, заметив, что я их про себя формулирую, опять она затрясла

головой, впрочем, довольно милостиво. «Я ничем не могу вам помочь, — она улыбнулась. — И вы должны это знать». Что она имеет в виду, должен — при чем тут? Я ничего, ничего не знаю. Мы в салоне, сидим, как водится, у эркерного окна. День за стеклом яркий, холодный, первый настоящий зимний денек. Это я повествование веду в настоящем времени. Мисс Вавасур чинит что-то, подозрительно смахивающее на старые носки полковника. У нее такая деревянная штучка, в виде гриба, она на ней расправляет пятку, чтобы дыру заштопать. Я успокаиваюсь, глядя на непреходящие эти труды. А успокоиться надо. Голова как мокрой ватой набита, едкий вкус блевоты во рту, и никакие упражнения мисс Вавасур со сплошным молоком в чае, никакие ухищрения с испытанными тончайшими тостами мне не помогут. Да еще пульсирует синяк на виске. Сижу рядом с мисс Вавасур, сокрушенно конфузясь. Как никогда себя чувствую скверным подростком.

Но что за день был вчера, что за ночь, и потом, прости Господи, что за утро. А как многообещающе все начиналось. По злой иронии случая, как оказалось в дальнейшем, дочь полковника обещала приехать, вместе с Губби и детками. Полковник вовсю выдавал небрежность, напускал

на себя грубость — «Это ж прямо нашествие!» — но после завтрака руки у него дрожали так, что трясся стол и звякали чашки на блюдцах. Мисс Вавасур требовала, чтоб все семейство осталось обедать, она курочку зажарит, и какое дети предпочитают мороженое? «Ах, ну что вы, — бормотал полковник, — нет, ну правда, зачем!» Тем не менее было ясно, что он глубоко тронут, и глаза у него на мокром месте. Я, собственно, был скорее не прочь глянуть на эту дочь и ее роскошного мужика. Мысль о внуках, правда, не сильно прельщала; малые детки, боюсь, вообще во мне будят не столь уж крепко спящего Жиля де Ре[23].

Визит назначался на двенадцать, но прогудел полуденный колокол, подошло и минуло время обеда, а не слышно было ни шелеста шин на гравии, ни резвых выкриков Малышей. Полковник ходил взад-вперед, отдергивал манжету, задирал к глазам руку, укоризненно сверлил глазами часы. Мы с мисс Вавасур как на иголках, слово сказать боялись. Совсем уже вечером дребезг телефона в коридоре всех бросил в дрожь. Полковник склонял ухо к трубке, как горюющий в

[23] Сноски: 23

Телохранитель Жанны д'Арк, так называемый Маршал Синяя Борода, отличавшийся редкой жестокостью, убивавший мальчиков и девочек.

исповедальне священник. Разговор был короткий. Мы старались не слушать. Он вошел на кухню, прочистил горло. «Машина, — сказал он, ни на кого не глядя, — пришла в неисправность». Явно ему наврали, или он сам теперь врал. Повернулся к мисс Вавасур с ужасной улыбкой: «За курочку извините».

Я его подбивал пойти со мной выпить, но он отказался. Сказал, что устал немного, что-то голова заболела чуть-чуть. И удалился к себе в комнату. Как тяжело он ступал по лестнице, как осторожно прикрыл за собой дверь уборной. «О Господи», — вздохнула мисс Вавасур.

А я пошел в бар «На Молу» и надрался. Я не хотел, так вышло. Был один из тех заунывных осенних вечеров в прочерках позднего света, которые кажутся воспоминаньем о том, что когда-то, давным-давно, цвело ослепительным полднем. Дождь оставил по себе на дороге лужи, они были бледнее неба, в них догорали остатки дня. Ветер трепал полы пальто, они хлопали меня по ногам, как будто мои собственные малые детки молили папочку не ходить, не ходить в этот паб. Но я пошел. «На Молу» — безрадостное заведенье под председательством огромного телевизора, он близнец аппарата у мисс Вавасур и

вечно включен, только вырублен звук. Хозяин — толстый, неповоротливый, немногословный. Какая-то у него чудная фамилия, вдруг из головы выскочило. Я пил двойные бренди. Отдельные моменты проступают в памяти, ярко пушась, как фонари в тумане. Помню, полез в спор со стариком у стойки, или это, наоборот, он ко мне пристал, другой, гораздо моложе, сын его, внук, старался меня унять, я пихнул его, он грозился позвать полицию. Хозяин вмешался — Баррагри его фамилия, вот! — его я тоже пытался пихнуть, с хриплым криком нависая над стойкой. Ей-богу, это совсем на меня не похоже, не понимаю, в чем было дело, помимо того, в чем обычно бывает дело. Наконец меня угомонили, я мрачно отступил к безгласному телевизору, сел за столик в углу, разговаривая сам с собой и вздыхая. Эти пьяные вздохи, шипучие, судорожные, как похожи они на рыданья. Последний свет вечера, который я видел за незакрашенной полоской окна в кабаке, был того свирепо-фиолетового отлива, который меня покоряет, но и отталкивает: цвета самой зимы. Не то чтоб я имел что-то против зимы, да нет же, это мой самый любимый сезон после осени, но сиянье этого ноября мне показалось предвестием не только, не просто зимы, и я впал

в горькую меланхолию. Предполагая облегчить сердце, я потребовал еще бренди, но Баррагри мне отказал, резонно, как теперь понимаю, и в бурном негодовании я бросился вон, верней хотел броситься, но кое-как вышел, шатаясь, и направился в «Кедры», к своей бутылке, которую ласково окрестил Маленький Капрал. На лестнице встретил полковника Бландена, имел с ним небольшую беседу. Точно не знаю о чем.

Была уже ночь, но вместо того чтоб остаться у себя в комнате и лечь в постель, я сунул бутылку под пальто и снова вышел. О том, что случилось дальше, у меня сохранились лишь рваные, темные клочья воспоминаний. Помню, стоял на ветру, под тряским сиянием фонаря, ожидая великого, всеобщего откровения, но потерял к нему интерес прежде, чем оно могло настать. Потом я был на берегу, в полной тьме, сидел на песке, выставив ноги, и колыхал на коленях почти пустую бутылку. Кажется, на море были огни, далеко-далеко от берега, они прыгали, качались, как огни рыбачьего флота, но они мне, конечно, поместились, нет в этих водах рыбачьих лодок. Я замерз, несмотря на пальто, оно у меня недостаточно плотное, не защитило мой зад от промозглой сырости песка, на который я сел. Од-

нако не промозглая сырость меня таки заставила кое-как подняться, но решение подобраться к тем огням, их обследовать; была даже, видимо, идея войти в воду и к ним подплыть. Так или иначе, именно у края воды я потерял равновесие, рухнул и ударился виском о камень. Так я пролежал уж не знаю сколько, то приходя в себя, то снова проваливаясь, не желая или не будучи в состоянии шелохнуться. Хорошо еще был отлив. У меня ничего не болело, я даже не очень тужил. Просто мне представлялось совершенно естественным так вот валяться во тьме под взвихренным небом, глядеть на слабое свечение волн, которые ретиво приплескивали, опять отступали стайкой любопытных, но робких мышат, пока Маленький Капрал, надравшийся как будто не меньше меня самого, дробно раскатывался по гальке, вот так валяться и слушать, как шумит ветер и летит, летит надо мной по огромным незримым пустотам и воздушным воронкам.

Я, наверно, уснул, а то и потерял сознанье, потому что не помню, как меня обнаружил полковник, хоть он уверяет, что я совершенно разумно с ним разговаривал, помог ему меня поднять и доставить в «Кедры».

Так, похоже, оно и было, то есть, видно, отча-

сти я был в сознании, иначе у него, конечно, не хватило б силенок поднять меня на ноги, тем более отволочь в «Кедры», то ли взвалив на закорки, то ли таща за пятки. Но как он догадался, где меня надо искать? Кажется, в нашей беседе на лестнице — хоть «беседа» несколько не то слово, ибо это в основном был мой монолог, — я подробно остановился на известнейшем факте, известнейшем, да, и притом факте, согласно моей трактовке, что утопленник принимает самую легкую смерть, а потому, в поздний час не услышав моих шагов, он испугался, как бы я в пьяном виде действительно не покончил с собой, и решил пуститься на поиски. Ему пришлось долго обшаривать берег, и когда уже почти отчаялся, в луче луны или ярчайшей звезды он увидел мою распростертую на камнях фигуру. То и дело мы мешкали, спорили, останавливались ради моих рассуждений на всевозможные темы, но наконец добрались до «Кедров», и он помог мне взгромоздиться по лестнице и завел в мою комнату. Все это — с его слов, ибо из всего нашего трудного перехода я не помню, как уже сказано, ничего. Позже, услышав, как я, все еще у себя в комнате, громко блевал — не на ковер, рад сообщить, а в окно, на задний двор, — а затем с грохотом

рухнул на пол, он взял на себя смелость войти ко мне в комнату, где и обнаружил меня второй раз за ночь, я лежал мешком, как говорится, в ногах постели, без памяти и, он сразу понял, остро нуждаясь в медицинской помощи.

Проснулся я в ранний час, еще в темноте, и увидел странную, малоприятную сцену, которую сначала принял за галлюцинацию. Полковник, как всегда с иголочки, сплошной твид и пике — он вообще не ложился, — хмуро мерял шагами комнату, и, что куда более невероятно, тут же была мисс Вавасур, которая, как потом разъяснится, услышала, скорей ощутила, как я до основания потряс старый дом, рухнув после своего блеванья из комнаты в сад. Она была в кимоно, волосы забраны сеточкой, каких я не видывал с самого детства. Сидела на стуле, чуть отодвинутом от меня, у стены, бочком, совершенно повторяя позу матери Уистлера, сложив на коленях руки, склонив лицо, так что глазницы казались двумя ямами пустой черноты. Лампа, которую я принял за свечу, горела перед ней на столе, шаром тусклого света обнимая сцену, и все это вместе — тускло светящийся круг с сидящей женщиной и вышагивающим мужчиной — было как ноктюрн Жерико или де ла Тура. Озадаченный, бросив

все попытки понять, что происходит и каким образом эти двое здесь оказались, я снова заснул, или я снова отключился.

Когда я опять проснулся, шторы были раздвинуты и был день. Комната имела, по-моему, пристыженный вид, вся бледная, стертая, как утреннее женское лицо без косметики. Снаружи, над самой крышей, хмуро застыло ровно-белое небо. События прошлой ночи робко пробивались в мое стреноженное сознанье. Белье на постели было скручено, смято, как после дебоша, и сильно воняло рвотой. Я поднял руку, и боль простреляла мне голову, когда пальцы попали в мягкое вздутие на виске, которым я стукнулся о камень. И тут только, вздрогнув так, что взвизгнула постель, я увидел, что на моем стуле сидит молодой человек, налегши грудью на мой стол, и читает книгу, распластанную перед ним на моем кожаном бюваре. Очки в стальной оправе, высокий лоб в залысинах, жидкие волосенки неопределенного цвета. Одежда тоже неопределенная, сплошь какой-то потертый вельвет. Услышав, что я шевелюсь, он повернул голову, преспокойно меня оглядел, даже улыбнулся, впрочем не особенно весело, и осведомился, как я себя чувствую. Ошарашенный — иначе не скажешь, — я

стал приподниматься в постели, причем она заколыхалась подо мной, будто наполненная густой вязкой жидкостью, и окинул его, как мне представлялось, грозно-вопросительным взором. Он, однако, нимало не смутился и продолжал спокойно меня разглядывать. Доктор, он сообщил таким тоном, будто на свете существует один только доктор, меня навестил и осмотрел, когда я был вовне — *был вовне*, так несколько странно он выразился, я даже секунду судорожно соображал, не выходил ли я снова на берег, сам того не зная, — и сказал, что у меня, кажется, сотрясение мозга, осложненное тяжелым, хоть и недолгим алкогольным отравлением. Кажется? Кажется?

— Нас доставила Клэр, — сказал он. — Сейчас она спит.

Джером! Влюбленный антропос без подбородка! Тут я его узнал. Но как ему удалось снова втереться в доверие к моей дочери? Или она никого другого не могла найти среди ночи, когда полковник, мисс Вавасур, ну не знаю кто, позвонил ей и сообщил о последней истории, в которую вляпался папаша? Если так, значит, сам виноват, хоть в чем моя вина, я сознавал не вполне. Как я себя клял, распростертый на этом шикарном ложе, тупой, похмельный, не имея сил вскочить,

схватить негодяя за шиворот и снова спустить с лестницы. Но меня ожидало кое-что и похлеще. Он отправился посмотреть, не проснулась ли Клэр, и она явилась с ним вместе, осунувшаяся, с красными глазами, в дождевике поверх лифчика, и мне объявила, будто с разбега бросаясь в воду, что они приняли решение. Осоловелый, я секунду не мог понять, о чем речь — какое решение? — и этой секунды ей, как оказалось, было достаточно, чтоб меня разгромить наголову. Я не смог опять поднять эту тему, и теперь с каждым мигом только закрепляется ее победа надо мной. Вот так, в мгновение ока, теряются и выигрываются сраженья. Читайте де Местра о войне[24].

Но ей и этого мало было: вдохновленная первой победой, пользуясь преимуществом, которое ей давала временная моя немощь, она продолжала командовать, в переносном смысле слова подбочась, — я немедленно пакую вещички, я покидаю «Кедры», я ей предоставляю меня отвезти домой — домой, она говорит! — где она станет заботиться обо мне, каковая забота, мне дается понять, будет включать запрет на все алкогольные стимуляторы и снотворные, покуда

[24] Сноски: 24

Ксавье де Местр (1763–1852) — французский писатель, ученый, военный деятель.

доктор — опять этот доктор — не найдет меня годным для того-то, сего-то — одним словом, надо думать, для жизни. Что делать? Как оказывать сопротивление? Она говорит, что мне пора всерьез взяться за работу. «Он пишет, — поясняет она суженому не без дочерней гордости, — большую книгу о Боннаре». У меня не хватило духу ей признаться, что моя Большая Книга о Боннаре — можно подумать, томина, которым впору кокосы сшибать, — не пошла дальше середины намечаемой первой главы да блокнота худосочных, непропеченных заметок. Ну и что. Можно другим заняться. В Париж поехать, писать картины. Или уйти в монастырь, влачить свои дни в тихом созерцании бесконечного, а то состряпать трактат о мертвых, уже прямо вижу, как сижу у себя в келье, длиннобородый, с гусиным пером, с ручным львом, а в окне, вдали, малюсенькие крестьяне ворошат сено, и над челом у меня витает сизокрылый голубь. Ах, да мало ли есть в жизни возможностей.

Наверно, мне теперь и дом продать не дадут.

Мисс Вавасур говорит, что будет по мне скучать, но я, пожалуй, правильно поступаю. Отъезд из «Кедров» едва ли можно считать моим поступком, я ей говорю, меня к этому принуждают. На

это она отвечает с улыбкой: «Ах, Макс, по-моему, вы не тот человек, которого можно к чему-то принудить». Тут я немею, и причиной не эта дань моей силе воли, но тот с легкой оторопью мной отмеченный факт, что она впервые меня назвала по имени. Все же не думаю, что могу теперь назвать ее Роз. Известная дистанция необходима для подержания милых отношений, которые мы создали, воссоздали, за несколько последних недель. Однако при этом беглом знаке интимности старые, незаданные вопросы снова роятся у меня в голове. Хорошо бы спросить, винит ли она себя в смерти Хлои — почему-то, бездоказательно, я уверен, что Хлоя первой ушла под воду, а Майлз бросился следом, ее спасать, — или, может, она считает, что оба утонули вследствие несчастного случая, и много, много чего еще хорошо бы спросить. Она бы ответила. Она не скрытная. Прямо все выболтала про Грейсов, Карло и Конни — «Их жизнь была разбита, разбита», — и они тоже вскоре ушли вслед за близнецами. Карло ушел первый, от аневризмы, потом и Конни, в автомобильной катастрофе. Я спрашиваю — что за катастрофа, она бросает мне выразительный взгляд. «Конни была не из тех, кто с собой кончает», — и у нее чуть дрожат губы.

Они с ней потом обходились идеально, идеально, она говорит, ни упрека, никаких таких обвинений, что, мол, не исполнила долг. И они ее пристроили в «Кедры», знали родителей Пышки, вот их и уговорили, чтоб взяли ее за домом присматривать. «И я здесь до сих пор, — она говорит, — а сколько лет уж прошло».

Полковник наверху шевелится, производит скромные, но выразительные шумы; рад, что я отчаливаю, никакого сомненья. Я его поблагодарил за ночную вчерашнюю помощь. «Вы, возможно, спасли мне жизнь», — сказал я и вдруг понял, что так оно, возможно, и было. Он пыхтит, сопит, откашливается — «Ах, сэр, да ну, сэр, это ж был мой долг, и больше ничего!» — и крепко, быстро стискивает мое предплечье. Он даже вручил мне прощальный дар, вечное перо, «Сван», старый, наверно, как сам он, все еще в коробочке, на пожелтелой папиросной бумаге. Эти самые слова, кстати, им чеканю, очень хорошо работает, так и бежит, так и скользит, ну, иногда, может, кляксой брызнет. И где он им раздобылся, вот что интересно? Я не находил слов. «Не стоит благодарности, — заверил меня полковник. — Мне без надобности, а вы найдете употребленье, писать будете, все такое». И метнулся из комнаты,

потирая старые, сухие, белые руки. Отмечаю: несмотря на будний день, он в своем желтом жилете. Так теперь и не узнать никогда, он правда старый армеец или обманщик. Еще один вопрос, который никак не могу задать мисс Вавасур.

— Это по ней я скучаю, — она говорит, — по Конни.

Я, наверно, вылупился на нее, опять она на меня бросает этот свой жалеющий взгляд.

— Он для меня был никто, — она говорит. — Неожиданность? Да?

Я вспомнил, как она стояла тогда подо мной, под деревом, и плакала, и голова лежала на сплющенном блюде плеч, и в руке был мятый, мокрый платок.

— Нет-нет, — она говорит. — Он мне был даром не нужен.

И еще я вспомнил тот пикник и как она сидела за мной на траве и смотрела туда, куда жадно смотрел я и видел то, что мне совсем не предназначалось.

Анна умерла перед рассветом. Если честно, меня при ней не было, когда это случилось. Я вышел на больничное крыльцо — вдохнуть всей грудью черный, блестящий воздух. И в ту минуту, тихую, страшную, я вспомнил другую минуту, давным-

давно, в море, тем летом в Баллилессе. Я плавал один, почему не знаю, не знаю, куда подевались Хлоя с Майлзом; может, поехали куда-то с родителями, в один из последних разов поехали, может, в самый последний. Небо висело мутное, ни один ветерок не ерошил поверхность моря, только по краю бились мелкие волны, набегали унылой грядкой, снова, снова, как подол, без конца подрубаемый сонной швеей. На берегу почти никого не было, да и те далеко, и застывший густой воздух глушил голоса, как туманил далью. Я стоял по пояс в воде, совершенно прозрачной, видел ребристый песок на дне, ракушки, оторванные клешни, собственные ноги, белые и чужие, как экспонаты под стеклом. Так я стоял, и вдруг, нет, не вдруг, с усильем, море взбухло — это не волна была, нет, мягкий накат, вздох из самой глуби, взмыв с самого дна, — и подняло меня, пронесло чуть поближе к берегу и там снова опустило, снова поставило на ноги, будто ничего не случилось. А ведь и правда ничего не случилось, ничего, ничего, просто огромный мир опять равнодушно пожал плечами.

Сиделка пришла за мной, я повернулся и вошел за ней в дверь, и было так, будто я вхожу в море.